

Петр Алексеевич Ширяев

Рассказы



Петр Алексеевич Ширяев

Рассказы

Текст предоставлен правообладателем
http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=22199705

Рассказы:

Аннотация

«...Лестница была устлана ковром. Темные двери квартир, с медными дощечками, солидно разместились по просторным площадкам; внизу- купол узорного лифта, похожего на часовню. Юноша приложил ухо к замочной скважине, прислушался и, решительно высморкавшись, нажал пуговку звонка. Все последующее произошло ужасно быстро. Большая столовая с массивной мебелью и тишиной, по которой важно расхаживал маятник больших часов, обняла юношу...»

Содержание

Цикута	4
Коротенькая женщина	58
Солдат революции	70
Освобожденные воды	81

Петр Алексеевич Ширяев

Рассказы

Цикута

I

Прежде чем позвонить, рыжеволосый юноша еще раз перечитал надпись на медной, начищенной ярко пластинке:

Присяжный поверенный
Вениамин Аполлонович
ГУДИМ

Лестница была устлана ковром. Темные двери квартир, с медными дощечками, солидно разместились по просторным площадкам; внизу - купол узорного лифта, похожего на часовню. Юноша приложил ухо к замочной скважине, прислушался и, решительно высморкавшись, нажал пуговку звонка. Все последующее произошло ужасно быстро. Большая столовая с массивной мебелью и тишиной, по которой важно расхаживал маятник больших часов, обняла юношу.

– Как доложить Вениамину Аполлоновичу?

– Скажите я... Я – по делу!.. Я сам скажу, я только что

приехал, скажите...

Рыжеволосый посетитель облегченно вздохнул, когда белый фартучек горничной исчез, оставив после себя пряный запах гелиотропа. Хлопнувшая где-то дверь глотнула четкие каблучки, и в тишине столовой выпятился на глаза пузатый буфет с многочисленными дверцами, колонками и резьбой, похожий на средневековый замок.

Юноша подозрительно осмотрелся, заглянул в одно окно, в другое и что-то пощупал в боковом кармане пиджака.

В кабинете – глухой голос пригласил садиться. Из-за письменного стола навстречу юноше двинулись два медленных свинцовых глаза, казавшиеся очень большими на костлявом лице.

Оглянувшись на дверь, юноша шагнул к письменному столу и быстро проговорил:

– Я от Михаила! У Николая Петровича родился сын...

– Кто крестный? – спросил человек за письменным столом.

– Вячеслав.

Вениамин Аполлонович Гудим встал и протянул юноше руку. В глухом его голосе будто открылась фортка, и стало приветливым суровое лицо.

– Ну, здравствуйте, товарищ! Присаживайтесь! От кого у вас ко мне явка?

Юноша горячо пожал протянутую руку и ужасно заторопился, когда начал рассказывать.

– Вы – товарищ Макс? Я из Нижнего. Я – Николай. Я приехал, я... Вы знаете, что Михаил Семенович арестован. Арестована Фаня, Леонид, Василий Васильевич, вся наша организация провалилась...

Вениамин Аполлонович протянул к нему дрогнувшую руку, будто пытался остановить эту торопливую речь, и так, с протянутой рукой, снова опустился в кресло.

– Да, да!.. И Фаня, и Леонид. Я один из всей организации уцелел. По-олный разгром! – взволнованно продолжал юноша, повторяя сказанное. – Аресты начались в субботу, первого арестовали Михаила Семеновича... От всей организации остался только шриффт, он сейчас у моей сестры. Я да шриффт.

Вениамин Аполлонович молчал, сторбленный, уйдя глубоко в кресло с высокой спинкой. Ни одним словом не прервал он рассказа Николая. И когда Николай кончил – он, казалось, все еще напряженно слушал отзвучавшие слова.

– А... как же уцелели вы? – спросил он, наконец, нарушая молчание, казавшееся бесконечно долгим.

Медленные глаза его поднялись к Николаю, к изрытому оспинками лицу с большим жабым ртом.

– Я... случайно не ночевал дома. Сестра предупредила меня о засаде. Если бы не она... У нее как раз и шриффт.

Николай проговорил это смущенно, словно чувствуя себя виноватым в том, что он один из всех уцелел.

У Вениамина Аполлоновича под нижней губой был ку-

стик светлых волос. Он закрутил их в запятую и встал. Ковер заглушал шаги. Николай сидел у стола. Когда Вениамин Аполлонович повертывался к нему спиной, он быстро вскидывал на него глаза и провожал его наблюдающим взглядом через весь кабинет, до поворота, и так же быстро опускал глаза, лишь только Вениамин Аполлонович повертывался лицом к нему.

Опустив голову и вздернув костистые плечи, Вениамин Аполлонович долго и молча шагал по кабинету.

Николай тихо проговорил:

– Я хочу немедленно работать...

Вениамин Аполлонович кашлянул и продолжал ходить; заговорил, не поднимая головы:

– В Нижний вам, конечно, ехать нельзя, схватят. Придется послать за шрифтом кого-нибудь другого. Шрифт нам нужен. Кого-нибудь другого, да, да! Людей у нас мало, очень мало, очень... А вам мы дадим работу, работа есть, много работы!.. Неужели же Михаил арестован?! – круто встал он перед Николаем. – Это же, это... не-ве-ро-ят-но! И Фаня? И Леонид?! Вы давно в организации? С девятьсот пятого?

Вениамин Аполлонович вдруг, быстро, нагнулся к Николаю.

– А ведь не-хо-ро-шо?! – дыша в лицо Николаю, прошептал он. И шепот его был острый, колющий и страстный.

– Что?

– Не-хо-ро-шо! – еще тише, еще острее повторил Вениа-

мин Аполлонович. Костлявое лицо с двумя огромными серыми глазами придвинулось так близко, что Николай съежился, и у него было ощущение – будто серый автомобиль с разбегу повесил над его жизнью два своих фонаря... И, глядя в них снизу, он испуганно прохрипел:

– Что нехорошо?

Вениамин Аполлонович взмахнул рукой, схватывая воздух, распустил пальцы, посмотрел на ладонь и, выпрямившись, заговорил зло:

– Конспирации, вот чего не хватает вам, молодежи! А конспирация – вещь очень простая, чрезвычайно простая! Надо только забыть, что вы – Николай. Надо ежесекундно помнить одно: меня, как такового – нет, не существует-ву-ет! Николая нет! Есть организация. Поняли? Вы и каждый ваш шаг связаны с сложным и дорогим механизмом, портящимся от одного неверного движения... Вы – частичка целого. Вы – организация. И тогда конспирация становится для вас такой же естественной и простой вещью, как, например, еда, когда вы несете ложку в рот, а не в нос или в глаз... Я вдвое старше вас. Я старый работник. Но я не существую, как личность. Меня нет. Есть организация, партия, дело... Мы отвечаем перед народом...

Вениамин Аполлонович подошел к столу и, закурив, жадно затянулся. Потом протянул портсигар Николаю.

– Я не курю.

Когда Николай уходил, снабженный адресом неизвестной

ему "товарища Наташи", где он должен получить дальнейшие указания и работу, Вениамин Аполлонович задержал его на дороге.

– Забудьте, что существует Вениамин Аполлонович Гудим, – проговорил он, растягивая выразительно слова. – Такого нет, и вы не знаете такого. Есть – товарищ Макс. Никогда вы у меня на квартире не были. Поняли? Идите! Скажите товарищу Наташе, что сегодня, в семь, я жду ее.

II

Буйный, пестрый букет цветов озарял большую комнату свежестью красок, и от них в комнате казалось рассветней и больше воздуху. Невольно вспоминалось поле, где так много неба. И, может быть, от этого печаль на красивом лице Наташи проступала ярче и запоминалась. Она сидела у окна, сцепив на колене голые, обвеянные загаром руки. Николай только что кончил печальный рассказ о разгроме нижегородской организации. Он в первый раз видел Наташу. Наташа впервые видела его.

– Когда вы приехали? – мягко, будто по бархату прошла словами, спросила Наташа.

– Сегодня утром. Я с вокзала прямо к товарищу Макс.

– Макс, конечно, читал вам поучения, а чаю не предложил, – с улыбкой встала Наташа. – Он у нас такой... Понравился он вам?

Такая же тихая и мягкая в движениях, как и в словах, она неторопливо накрыла стол, принесла самовар, колбасу, сыр и, усевшись против Николая, строго следила за тем, чтобы он ел и сыр, и колбасу, и ватрушки.

– Ешьте и не возражайте! Люблю, когда едят с аппетитом. Простите, я не дослушала, что вы сказали о Максе?

– У него очень большие глаза. Такие... кажется, одни глаза, а ничего другого нет!

Наташа серьезно сказала:

– У него большое сердце... Вот поработаете у нас – убедитесь. Сколько вам лет?

– Двадцать один... То есть, почти двадцать один, – смутившись, поправился Николай и, помолчав, неожиданно добавил:– В ноябре сравняется двадцать...

– У вас в Нижнем есть родственники?

– Сестра Лиза.

– Это у нее лежит шрифт? Она беспартийная?

Наташа задумалась. Николай исподлобья наблюдал за ней. На одном из пальцев правой руки она носила кольцо. Николай посмотрел на кольцо и спросил:

– Вы та самая Наташа... Ваш муж осужден по делу киевской организации?

Наташа тихо кивнула головой.

– А вы откуда знаете? Вам говорил Макс?

– Нет, Михаил Семенович рассказывал...

Наташа не спросила, когда и что рассказывал Михаил Се-

менович Николаю; обвела пальцем узор скатерти, и, подавив вздох, выпрямилась.

– Я вас, товарищ, пока направлю в Кусково на дачу. Там поживете для дезинфекции, оглядитесь. Потом и на работу. Паспорт у вас есть?

– Да.

– Надежный?

– Настоящий.

– А деньги?

– Тоже есть.

– Сколько? А ну... показывайте вашу кассу! Рубль десять копеек?! И это все?! – рассмеялась Наташа, заглянув в кошелек. – Да вы комик!

Она достала из стола пятнадцать рублей и всунула их в кошелек Николая,

– Теперь вы нелегальный, не рассуждайте!.. Кстати, возьмите цветочков, подарите их от меня Оле. Хозяйку дачи зовут Ольга Александровна, запомните. Там очень хорошо, отдохнете и успокоитесь, а работы у нас хватит...

Проводив Николая, Наташа подошла к раскрытому окну и, выждав, когда он выйдет из подъезда, долго наблюдала за ним. Выйдя из подъезда, Николай посмотрел на номер дома, где жила Наташа, и, словно запоминая что, осмотрелся по сторонам. Потом торопливо зашагал по улице и, раза два оглянувшись, скрылся за углом. Извозчик, стоявший на другой стороне улицы, трусцой поехал по тому же направлению.

Ш

Наташа, а с нею и весь комитет, были уверены в благополучном исходе поездки за шрифтом. Было решено послать Сергея, а Сергей был старым, опытным волком в таких делах. По внешности Сергей напоминал скорее молодца из Охотного ряда, чем революционера-подпольщика. Длинный пиджак и сапоги бутылкой дополняли сходство. Самому Сергею поездка казалась пустяком, и в ответ на наставления Вениамина Аполлоновича о конспирации он так уморительно поклонился стриженной в скобку головой и так по-охотнорядски почтительно снял и развел суконным засаленным картузом, что все расхохотались. Даже нервный и вспыльчивый Адольф.

– Не извольте сомневаться, барин, рыбец-с первый сорт-с! Покорнейше благодарим-с, милости просим в другой раз!

По дороге в Нижний Сергей усердно наливался чаем из захваченного с собой чайника, ел колбасу, крупно нарезанную перочинным ножом, крестился и икал... С предупредительностью лавочника помогал соседям размещать по полкам багаж и при каждом случае извинялся:

– Виноват-с, что вы изволили сказать? Никак-с нет!

На вокзале в Нижнем Сергей долго и навязчиво расспрашивал у жандарма, как ему пройти на Больничную улицу; потом толкался по вокзалу, пил вприкуску чай в буфете тре-

тьего класса и вышел с вокзала только тогда, когда убедился, что за ним не следят.

Сестра Николая жила на окраине города. На звонок Сергея вышла молодая женщина с приветливым лицом.

– Лизавета Семеновна Новожилова здесь квартируют?

– Здесь. Вам что?

– Нам повидать ее...

Молодая женщина посмотрела на рыжий кожаный чемодан в руке Сергея. Сказала немного удивленная:

– Я Елизавета Семеновна.

Сергей улыбнулся и решительно шагнул в калитку.

– Здравствуйте, я – от Коли. Он вам кланяется и просил передать, что жив и благоденствует.

– От Коли?! Боже мой! – радостно всплеснула руками Елизавета Семеновна и заторопилась, пропуская вперед Сергея. – Заходите, заходите, пожалуйста! Я так за него беспокоилась, так боялась! Значит, все благополучно?

В маленьких комнатках было опрятно и пахло яблоками. На одной из стен висел большой портрет Толстого.

– Мы с мужем как проводили его – все время беспокоились! Боялись, что по дороге его арестуют. Слава богу, что все хорошо! Как он там живет, как устроился?

– Великолепно!

Сергей совсем не знал, как живет Николай, и видел его только один раз, в день отъезда, когда получил от него необходимые для поездки сведения.

– Я к вам за багажом, – многозначительно посмотрел он на Елизавету Семеновну, – цел он?

– Шрифт?

– Да.

– Цел, цел, с ним столько было хлопот! Прятали, перепрятывали, у нас в городе обыски без конца.

Сергей до вечера просидел в маленьких чистых комнатах, где так славно пахло яблоками и медом. За чаем он вел бесконечные споры с Елизаветой Семеновной и ее мужем, доказывая несостоятельность толстовского учения "о непротивлении злу". Муж Елизаветы Семеновны с вдумчивым, апостольским лицом мягко возражал. В его мягкости чувствовалась сталь, которую не сломать.

"Какие милые, славные люди", – думал Сергей, сидя на извозчике, с объемистой корзинкой в ногах. К ручке корзины веревочкой был привязан чайник из белой жести.

Жизнь подпольного работника-революционера напоминала всегда Сергею жизнь пчелы, собирающей в полях и садах драгоценную медовую влагу. Незнакомые города, чужие дома и семьи, люди, с которыми часто встречаешься первый и последний раз, были чашечками цветов, в глубине которых теплился огонек сочувствия, огонек одной и той же огромной любви к свободному, прекрасному будущему. И в этих случайных встречах с людьми, доселе неведомыми – поэтому велись речи, очищенные от житейских будней и дрязг, речи о народе, об идеалах, об общем всечеловеческом сча-

сть. И, быть может, поэтому после таких встреч оставалось светлое и радостное чувство на душе, сильнее верилось, а люди, с которыми только что расстался, казались милыми, добрыми, прекрасными. И не пугали опасности этой жизни. Корзинка со шрифтом казалась тем чудодейственным средством, которое спасет и осчастливит, наконец, человечество.

– Хороший город Нижний! – сказал Сергей извозчику, чувствуя потребность что-нибудь сказать.

– Первый город! – с достоинством отозвался извозчик, окая, как истый нижегородец. – Ярмарки такой не сыскать. Из Москвы будете?

– Из Москвы. К сестре приезжал. Сестра у меня тут отдана, – начал врать Сергей, присматриваясь к извозчичьей спине и думая о том, что извозчики часто бывают шпиками. – Сено у вас почему?

– Сена нынешний год дорогие!

"У извозчиков сена и овес всегда дорогие!" – подумал Сергей и, почему-то решив, что извозчик не шпик, успокоился и заговорил об ярмарке.

В вагоне он опять наливался чаем, ел колбасу, вел разговоры с почтенной чуйкой напротив, плевал на пол и растирал плевки сапогами. Подъезжая к Москве, он прошел два раза по вагону. Ничто не внушало подозрений. Все пассажиры казались обыкновенными пассажирами.

"Кажется, все в порядке! – подумал он. – На Курском выйду вместе с этой чуйкой, заведу разговор, так лучше!"

– И куда спешат?! – сказал он чуйке, когда поезд остановился и пассажиры бросились к выходу. – Все выйдем, успеем... Нецивилизованный народ пошел!

– Да уж... – неопределенно согласилась чуйка и втиснулась в кашу, образовавшуюся на площадке.

Тяжелая корзина оттягивала плечо, но Сергей старался держаться прямо, свободно, делая вид, что корзина совсем легкая.

– Один раз, в позапрошлом годе, послал меня, например, хозяин в Царицын, – громко врал он, идя рядом с чуйкой к выходу, – поехал я, извольте видеть, приезжаю, значит, туда...

Широкая рука прочно взяла Сергея сзади под локоть. Он не успел додумать какой-то мысли. Рослый жандарм очутился близко-близко. Слева – человек в штатском протягивал руку к корзине.

Мысль лопнула режущими осколками:

"Вокзал... Толпа... Скрююсь..."

От толчка с жандарма свалился картуз, но цепкие руки осадили Сергея назад, и, казалось, вся толпа, все толкавшиеся на вокзале люди всей своей многопудовой непосильной тяжестью повисли на плечах. Десятки глаз со всех сторон протянулись к Сергею – испуганные, непонимающие, любопытные, но все чужие. И острое сознание одиночества, тоскливое и вместе с тем успокаивающее, как сталь в сердце, вошло в Сергея...

В дежурной жандармской комнате Сергей снял картуз, вытер потный лоб и, глядя на корзину, около которой, развязывая, уже хлопотал торопливо человек в штатском, с искренним сожалением произнес:

– На кой же черт я пер все это сюда?!

– Для нас меньше хлопот! – язвительно отозвался в штатском, поднимая к Сергею лицо от корзины.

Сергей, на всю жизнь запоминая это запрокинутое ноздреватое лицо с тараканьими усами, с отвращением и ненавистью плюнул в него.

IV

Об аресте Сергея первым узнал Адольф. Сергею удалось переслать из участка на волю коротенькую записку:

"Арестован на Курском вокзале по приезду. Провокация несомненна. Сергей".

Прочитав записку, Адольф подошел к зеркалу и, дернув за нос сразу поглупевшее лицо, поклонился:

– С приездом!..

Перечитал еще раз записку. Страшными были последние два слова: "Провокация несомненна".

Торопливо напихав во все карманы с полдюжины газет – без газет Адольф не чувствовал себя Адольфом, – Адольф помчался к Наташе. Когда шел по улице, ему казалось, что он едет в вагоне поезда и назойливые колеса отстукивают од-

но и то же слово: "Про-во-ка-ция... Про-во-ка-ция... Про-во-ка-ция..." С этим словом в голове и на языке он отчаянно дернул ручку звонка у Наташиной квартиры. Наташа сама открыла дверь. Увидев Адольфа, она замахала обеими руками. У нее было встревоженное, помятое лицо.

– Уходите скорее! Уходите! У меня только что кончился обыск!

Как кегельбанный шар от борта, Адольф задом откатился назад, забыв о цели своего прихода. Два пролета лестницы промелькнули сном.

– Адольф! Адольф! Минутку! – перегнувшись через перила, сверху звала его Наташа.

Адольф опомнился на третьей площадке.

– Сергей арестован! Провокация! – крикнул он снизу Наташе и, не слушая ее умоляющего зова, нахлобучил на нос кепку и выкатился на улицу. Торчавшие из всех карманов газеты делали его круглую фигурку смешной и нелепой, похожей на странную полуощипанную птицу с надломленными крыльями. Промчавшись несколько сажений по тротуару, опрокинув лоток с грушами у разносчика, он круто остановился, подумал и так же стремительно понесся обратно.

Наташа, открыв дверь, поймала его за пиджак и почти силой втащила в коридор.

– Куда вы умчались?! Расскажите скорее, в чем дело? Надо предупредить Макса! Надо собраться немедленно и обсудить. Рассказывайте же скорей! У меня рылись всю ночь, до

утра. Ничего не нашли! Адреса я успела уничтожить.

Пугливо озираясь и прислушиваясь, Адольф сунул Наташе записочку Сергея, свернутую в микроскопический шарик. Адольф держал его все время в руках, пока шел по улицам, готовый в любой момент проглотить.

– Читайте скорей! Сергей арестован, провокация, – скороговоркой проговорил он. – Прочли? Проглотите сейчас же!

Адольф вырвал у Наташи записочку, скомкал ее и сунул Наташе ко рту.

– Глотайте!

Наташа не могла удержаться от улыбки.

– Зачем же глотать, когда можно сжечь!..

Адольф вместо ответа быстро сунул шарик в рот и проглотил, выпучив круглые глаза.

– Ну, я пойду! – повернулся он к двери,

Наташа опять поймала его за пиджак.

– Да подождите вы!.. Где соберемся? Надо, необходимо собраться. Завтра, послезавтра? Надо Макса предупредить...

– В субботу, на Якиманке, в семь, – прошипел, как скворода, Адольф и, не слушая Наташи, выскочил в дверь.

Вениамина Аполлоновича дома не было. Адольф оставил ему записку:

"Сережа серьезно болен. Зайдите навестить тетушку. Наталия Андреевна очень расстроена, ей тоже нездоровится".

Под словом "тетушка" подразумевалась конспиративная

квартира на Якиманке, где происходили заседания комитета.

В этот день и улицы, и дома, и люди странно переменялись. Городская сутолока с ее экипажами, трамваями, конками, магазинами и пивными, с ее тысяченогим торопливым шмыгом тротуаров, где тысячи незнакомых людей встречаются, расходятся, обгоняют друг друга, спеша каждый по своим делам, со своими мыслями и мыслишками, радостями и печалью, вся эта суета, праздная и не праздная, без которой подпольный революционер, как без воды рыба, не мог жить и дышать, – в этот день была похожа на огромного дикобраза, выпустившего свои колючки на каждом перекрестке, на каждом шагу, в трамваях, с извозчиков, из подъездов каменных, незнакомых Адольфу, громад. Каждый встречный был предателем; предательством дышала каждая улица и каждый камень. И было такое ощущение, что над головой шевелится страшная крыша, готовая каждую минуту обрушиться. Иногда казалось, вот-вот из этой суеты и уличного грохота протянется неведомая рука сзади и... схватит. И невольно Адольф втягивал в плечи голову и ускорял шаги. У театра Солодовникова на огромной розовой афише он пять минут читал крупно написанное слово "Пре-да-тель", вместо "Кармен". Тверскую Адольф обошел. Там был переулочек с зловещим тупиком, хорошо знакомый каждому революционеру. И самое название переулочка – Гнездниковский – в этот день звучало змеиным затаенным укусом предательства и ядом.

На Никитском бульваре Адольф присел на скамью и закрылся "Русскими Ведомостями". Мысль его безнадежно кружилась по заколдованному кругу.

"...арест Сергея, обыск у Наташи, предательство... Кто?"
Ответа не было. И было страшно.

Господин в золотых очках и котелке слишком внимательно посмотрел на Адольфа как раз в тот момент, когда Адольф выглянул из газеты. Адольф поймал этот взгляд, и мураши скатились от затылка за воротник, по спине. Хитрые глаза из-под золотых очков проникли глубоко внутрь и, казалось, нащупали как раз то, что тщательнее всего было спрятано. Стараясь казаться беспечным, но чувствуя, как ноги просятся бежать вдоль по бульвару, Адольф встал. Сердце колотилось как у пойманного воробья. Медленными, неторопливыми шагами он пошел в сторону, противоположную той, куда шел господин в золотых очках.

– Сейчас повернет за мной... Шпик!.. – Адольф едва удерживался от того, чтобы не обернуться. Почувствовал вдруг в желудке проглоченную у Наташи записку Сергея, будто это была не микроскопическая бумажка, а булыжник из мостовой. Ноги не слушали увещаний старого подпольщика и срывались, готовые улепетнуть и бросить на произвол судьбы туловище и сдерживающую их кучерявую голову конспиратора.

В таких случаях всегда развязывается шнурок у ботинок... Адольф остановился и, нагнувшись, скосил назад вы-

пуклые глаза. Золотых очков не было, но как раз напротив торчали два подлых, рыжих глаза субъекта в коричневом костюме. Здесь ошибки не могло быть.

Адольф бегом спустился с бульвара и вскочил в проходивший трамвай. Субъект в коричневом, улыбаясь, помахал ему рукой, когда он выглянул из трамвая.

На квартиру к себе Адольф попал лишь поздно вечером. Хозяйка передала ему записку, оставленную солидным господином с бородавкой.

Макс писал:

"Мне сегодня нездоровится. Загляните к Наташе". Слово "нездоровится" было подчеркнуто. Но и без этого было понятно: и у Макса был обыск.

Квартира Макса была самой надежной квартирой. Ее и Макса берегли.

Адольф остро почувствовал, как над ним опускается неведомая и неотвратимая рука. Он сел на кровать, как был, в кепке, с запиханными во все карманы газетами, и закрыл руками лицо.

– Кто?..

V

Адольф, маленький, выпуклый, странно напоминавший кепку с пуговкой на макушке, катался по комнате и брызгал торопливыми страстными фразами. Он всегда горячился и

в обсуждение даже простых вопросов всегда вносил страстность.

– Так дальше продолжаться не может. Не может! Ждать, когда нас всех пересажаяют? Вы этого хотите? А вы? Я тоже не хочу! Вы знаете, что и сюда я шел с таким же чувством, как мышь в мышеловку. Я переменил трех извозчиков, шесть трамваев, пять верст пешком исколесил, прежде чем попасть сюда. Где гарантия, что за мной, за вами, за нами нет слежки? Так не-во-зможно!!

Вениамин Аполлонович с бесстрастным лицом крутил светлый кустик волос под губой. Молчала и Наташа. Адольф поминутно останавливался перед ними и выбрасывал вперед руку, будто у него в горсти были зажаты эти страстные, прыгающие слова.

– Я спрашиваю вас, товарищи, – чем объяснить эти провалы? Чем? Шесть провалов на протяжении двух недель! Арест Сергея, обыск у вас, у Наташи, провал дачи в Кускове!? Что это, то-ва-ри-щи-и?! Это – про-во-ка-ция! Это значит – в организации есть пре-да-тель.

– Какие же выводы? – глухо спросил Вениамин Аполлонович.

– Выводы? Выводы? – вскрикнул Адольф и описал по комнате полукруг. – Выводы? Извольте! Я настаиваю на временном роспуске организации.

Вениамин Аполлонович нахмурился. Адольф заметил это и закипел.

– Что? Что вы хотите этим сказать? – обрушился он на него. – Вы не согласны! Да? Не согласны? Тогда, тогда...

Адольф перевел дух, посмотрел на Наташу...

– Тогда я заявляю о своем выходе из комитета!!! Я не могу работать в такой атмосфере. Я не желаю играть в круглого идиота.

"Идиот" Адольф произносит как "идиет".

Мелкие капельки пота выступили на его круглом лице. Он изнеможенно упал на диван и уставился в потолок, всем своим видом показывая, что больше говорить не о чем и что для него – все кончено. Правая нога его выбивала мелкую дробь по паркету, и в такт ей крутились большие пальцы рук, один вокруг другого.

Вениамин Аполлонович кашлянул.

– Я считаю ваше заявление, товарищ Адольф, недостойным члена комитета и старого партийного работника.

Адольф подпрыгнул с дивана, как пущенная ракета.

– А я считаю преступным продолжать работу, когда в организации есть невыявленное предательство! – выкрикнул он.

Наташа встала и взяла Адольфа за локоть. Адольф яростно повернулся к ней, готовый к отпору.

– А я? А Макс? – тихо сказала Наташа, глядя ему в глаза. – Вы не один в комитете! Голубчик Адольф, так нельзя!..

Как укрощенный дикарь, Адольф скомкался и стих; взъерошил африканские волосы и снова мрачно уселся на

диван, дергая то плечом, то ногой и громко сопя, что у него всегда было признаком большой взволнованности.

– Я вчера вот, – Наташа достала из сумочки исписанные мелко листки бумаги и протянула их Адольфу, – получила письмо из Орловского централа. Прочтите! Там товарищи кончают самоубийством от пыток и издевательства, а мы хотим здесь отойти от работы... Распустить организацию? Но сердцу-то не прикажешь: не бейся!

Наташа остановилась у дивана против Адольфа, быстро пробежавшего исписанные листки.

– Нельзя так, милый Адольф!

– Но что, что же делать?! – с надрывом воскликнул Адольф, комкая прочитанное письмо, и повернулся к Вениамину Аполлоновичу, сидевшему за столом. Туда же повернулась и Наташа.

Сгорбленный сидел Вениамин Аполлонович и постаревший. Карандаш в руке у него мелко вздрагивал, и смешно вис книзу правый ус. Он молчал, сосредоточенный и упорный в каких-то думах.

– Чем объяснить, например, арест Сергея? – спокойнее заговорил Адольф. – Вся обстановка ареста говорит о несомненном предательстве. Охранка знала о поездке Сергея. Она ждала его. Сергей достаточно опытен, он утверждает, что его выдали!.. Ведь кроме нас – никто не знал об этой поездке?!

Вениамин Аполлонович передвинул к Адольфу медлен-

ные, внимательные глаза.

– Что вы? – спросил Адольф.

– Продолжайте, продолжайте! – тихо сказал Вениамин Аполлонович, передвигая глаза на Наташу и как бы приглашая ее особенно внимательно слушать.

– Если предположить, что его выследили в Нижнем, тогда почему его не арестовали там же? Да я не допускаю, чтобы Сергей мог не заметить слежки! Затем – дача в Кускове? И здесь все говорит за то, что охранка была информирована человеком знающим. Почему сразу же бросились в сарай, где хранился станок, оружие? А квартира на Долгоруковской?! Наконец, эти обыски у вас! Вашей квартиры почти никто не посещал, кроме меня и Наташи...

Наташа, неслышно ходившая взад и вперед по комнате, вдруг остановилась, взглянула на Вениамина Аполлоновича и, словно отгоняя что, тряхнула головой.

– О поездке Сергея знал еще один человек, – глухо проговорил Вениамин Аполлонович и посмотрел по очереди на Адольфа и Наташу; после его слов молчанье натянулось до последнего предела, до жгучей близости бритвы, приставленной к открытому горлу. Обломок карандаша в руке у него прохрипел по бумаге и зарылся в нее, прорвав страницу книги. Адольф весь напряженно устремился к столу, к сломанному карандашу, к тонкому, готовому шевельнуться рту Вениамина Аполлоновича. Но Наташа предупредила:

– Ни-ко-лай?!

Вениамин Аполлонович горько наклонил голову. Некоторое время все трое молчали. Первый заговорил Вениамин Аполлонович. Он подробно рассказал о своей встрече с Николаем и, кропотливо разобравшись во всех обысках и арестах, имевших место после приезда Николая, установил простой и страшный в своей простоте факт: проваливались только те квартиры, где побывал Николай.

– Тяжело и страшно высказывать подозрение, – заканчивая, говорил Вениамин Аполлонович, – но перед нами вопрос о жизни организации. Вот почему я беру на себя ответственность...

Адольф глядел в раскрытое окно, но его курчавый, упрямый затылок напряженно слушал каждое слово за спиной. Наташа, скорбная, сидела у стола, Все, что говорил Вениамин Аполлонович, она знала, но она знала и что-то другое, не укладывавшееся ни в какие факты и логику.

– А я не верю, – сказала она, когда Вениамин Аполлонович кончил, – не могу верить. Как хотите, но вот... не верю! Как вспомню его, и не верю.

– Я ничего не утверждаю, – заметил Вениамин Аполлонович строго, – от подозрения до утверждения далеко.

– А вы, Макс, верите? – посмотрела на него Наташа. – Нутром верите?

Вениамин Аполлонович взялся за голову.

– Ах, Наташа! Нет, конечно, нет! Сердце протестует, но факты, факты!.. Чем опровергнуть их? Чем? Вспомните

Клавдию Полякову. Разве кто-нибудь из нас, хотя бы на миг, мог допустить, чтобы эта милая, тихая Клавдия – и вдруг со-трудница охраны?! Никто. Разве вы допускали?..

– Нет.

– Вот видите! Никто не допускал, а на деле оказалось – эта милая Клаша – злостная, расчетливая предательница... И сколько народу из-за нее пропало – страшно подумать! Нет, тысячу раз нет! – шлепнул он по столу ладонью. – Поменьше сердца в таких делах, побольше трезвого, жестокого разума и логики! Логика неумолима, Наташа!

Адольф круто повернулся:

– Надо, товарищи, проверить это, проверить его! Ошибка здесь недопустима! Надо проверить.

У Наташи были благодарные глаза, когда она посмотрела на него. Вениамин Аполлонович перебил Адольфа коротким:

– Как?

– У меня есть знакомая семья в Салтыковке. Никакого отношения к революционным организациям не имеет, люди чистые во всех отношениях. Пошлем его туда... Скажем, что там склад оружия. Предлагаю намекнуть ему в разговоре, что оружие хранится в кладовой. У них есть кладовая... Понимаете? Если он провок, – он выдаст. Можно даже упомянуть, что оружие должно быть скоро перевезено оттуда, тогда он непременно поторопится донести куда следует...

– Вряд ли он попадет на эту удочку, – покачал головой

Вениамин Аполлонович, – хотя... попробовать можно! Вы что скажете, Наташа?

– Я согласна. Так или иначе, но что-то надо предпринять.

– Я сейчас же отсюда поеду в Салтыковку, – сказал Адольф, – если это не даст результатов, попробую организовать за ним слежку...

– А согласятся ли на такой эксперимент ваши знакомые? – спросил Вениамин Аполлонович. – Обыск – удовольствие не из приятных! Кто они?

– Совершенно мирные обыватели, милые люди, и только! Они согласятся, я уверен. Да вы их немного должны знать, Макс! Помните, мы как-то с вами заходили в один дом по Тихоновской улице? Прошлым летом?

– Н-нет! – припоминая, не припомнил Вениамин Аполлонович и встал, смотря на часы.

– Пора расходиться! Кто первый выйдет? Вы, Адольф? Ну, пожелаем успеха нашему плану. Берегите себя, друзья, на наших плечах слишком, слишком много! А вы, Наташа, – задержал он руку Наташи в своей, – не забывайте примера Клавдии Поляковой. Не всегда сердце говорит правду. Я знаю, душой понимаю, как тяжело вам... Но и мне ведь нелегко, Наташа, милая!..

Голос Вениамина Аполлоновича дрогнул. Он повернул Наташу за плечи к двери.

– Идите, идите!

VI

Адольф с заседания комитета поехал в Салтыковку, а через два часа уже звонил у двери Наташи.

– Все сделано. Я из Салтыковки, там – согласны. Завтра, или даже сегодня посылайте его туда с каким-нибудь поручением. Не забудьте – дайте ему понять, где спрятано оружие... Если там будет обыск, я просил известить об этом вас... До свидания, я пойду к себе! Вы сказали, что сегодня он должен зайти ко мне – я хочу перебраться в другое место.

Наташа задержала Адольфа.

– Голубчик Адольф, скажите мне... Вы верите, что Николай предатель?

– Не знаю. Вот увидим! – уклонился Адольф, хмурясь, и решительно повернулся к двери.

– Подождите, минуточку... А что, если бы такие же факты сложились против меня, вы бы поверили, что я?... – Наташа не договорила. Серьезно смотрела Адольфу в глаза.

Адольф дернул плечом и засопел.

– Поверили бы?

– Этого... не может быть! – пробормотал Адольф.

– Почему?

– Не может быть!

– Но почему?!

Адольф посмотрел на Наташу с таким видом, будто на

миг допустил, что перед ним стоит предательница. И тряхнул упрямой, курчавой головой.

– Тогда и я... провокатор! – неожиданно заключил он и поспешно добавил: – Вообще я принципиально на такие вопросы отвечать не желаю! Глупо! До свидания!..

Адольф жил в одном из переулков около храма Христа. Он снимал комнату у старой чиновницы, служившей сиделицей в винной лавке. Квартира помещалась во втором этаже, над лавкой. Пелагея Ивановна, одинокая и бездетная, была привязана к своему жильцу, как мать. По паспорту Адольф значился крестьянином Калужской губернии, Петром Петровичем Крапивиным. Пелагея Ивановна за чаепитием иногда говорила, поглядывая подслеповатыми глазами на курчавую, черную, как тушь, голову жильца:

– В вас, Петр Петрович, только смиренность одна калужская, а кроме ничего!

В молитвах перед сном каялась Пелагея Ивановна и не скрывала своего расположения и особой, чувствительной жалости к революционерам. И как-то раз (давно было это), заметив беспокойство жильца, выбегавшего к двери на каждый звонок, Пелагея Ивановна всунула в приотворенную дверь его комнаты голову и значительно кашлянула.

– Вы бы, Петр Петрович, для спокойствия дали мне сверточек-то! – шепотком проговорила она.

– Какой сверточек? – вспыхнул Адольф.

– Который позавчера принесли... Он у вас под кроватью.

Дайте его мне, я снесу вниз, в склад... Кому придет в голову там рыться?!

И с тех пор, частенько, в беспокойные дни, Пелагея Ивановна принимала из рук Адольфа свертки и прятала их в складе, где стояли ящики с водкой и пустой посудой.

Вернувшись к себе, Адольф первым делом предупредил Пелагею Ивановну о своем намерении переменить квартиру. Пелагея Ивановна расстроилась и даже обиделась.

– Сколько времени душа в душу жили... Не понравилась, видно, я вам напоследок?..

Адольф всячески старался ее разуверить, но старушка в ответ лишь покачивала головой, и на глазах у нее были слезы.

– Чего уж, не по нраву пришлась! Бог вам простит, а я против вас ничего не имею, кроме жалости... Когда оставлять-то меня хотите?

Адольф, узнавши от Наташи, что Николай знает его адрес, твердо, тогда же, решил немедленно переменить комнату. И даже сообщил Максу свой новый адрес – одного знакомого врача, где временно думал устроиться. Но теперь, глядя на опечаленную и расстроенную Пелагею Ивановну, он заколебался и на вопрос ее ничего не ответил.

– Когда-нибудь, Пелагея Ивановна, вы все узнаете! – говорил он, проходя к себе в комнату. – Я тоже привык к вам, мне тоже очень не хочется с вами расставаться. Я вас очень люблю, Пелагея Ивановна!..

– Какая уж тут любовь?! – приговаривала Пелагея Ивановна, идя следом за ним. – Вам, молодым, не до нас, старых. Какая уж тут любовь?! А сердце-то мое чует – не к добру это. Нонче к вам заходил молодой человек, забыла совсем, из ума вон!

Адольф встревожился.

– Когда заходил? Какой он из себя? Что он говорил? Он в комнату входил?

– Что вы, что вы, Петр Петрович, как же это можно чужого человека в комнату впустить? Разве я не знаю! Что вы? Рыженький такой, из себя несимпатичный. Все допытывался, когда вы дома бываете...

Адольф сел у окна, выходявшего в переулок. Золотой огромный купол храма Христа казался близким-близким. Снизу, из Замоскворечья и с моста, доходили звонки трамваев и глухой гул. На улицах зажигались фонари. Пелагея Ивановна принесла самовар и подогретый ужин.

Адольф ел много, долго и жадно. А когда наелся, ощутил во всем теле приятную усталость и прилег на диван. Он уснул почти мгновенно; последняя мысль его была: не заснуть бы!

Проснулся за полночь.

Посмотрел на часы, на кровать, на пустую сковороду из-под жаркого и стал раздеваться, твердо решив завтра оставить комнату.

– Сегодня ночью ничего не может быть... Если он провокатор – сегодня ему не до меня, в Салтыковку двинутся ис-

кать оружие.

В окно, выходящее во двор, залитый асфальтом, вошел сдержанный топот ног нескольких человек. Адольф погасил огонь и высунулся в окно. Двор был проходной: одними воротами – в переулок, другими – на Волхонку. Оттуда, со стороны Волхонки, озаряемые слабым светом фонаря во дворе, шли люди гуськом. Впереди серая шинель пристава.

– Обыск?!

Натягивая пиджак, Адольф выбежал из комнаты.

– Пелагея Ивановна, обыск! – сдавленно крикнул он в дверь хозяйки. – Подождите открывать. Подождите! Я вниз, в лавку...

Торопливо вырывая из записной книжки листки, Адольф совал их в рот, давился ими и глотал.

В кухне, в полу была дверка и лестница вниз, в винную лавку. Запасный выход склада выходил во двор. Дверь заперлась на крюк с внутренней стороны. Адольф скатился вниз, как мяч, и застыл у двери, прислушиваясь.

Голос Пелагеи Ивановны спрашивал наверху:

– Кто?

Что ей отвечали – слышно не было.

– Сейчас, сейчас, – говорила Пелагея Ивановна, – я раздевая. Сейчас открою!

Настойчивый звонок снова забился по квартире, над головой Адольфа. Он слышал, как звякнул замок; слышал тяжелые шаги вверху, справа, где была его комната;

бесшумно снял крюк и осторожно нажал дверь, боясь, чтобы она не скрипнула.

"По Лебяжьему переулку, к Румянцевскому музею, там извозчики, иногда лихачи..." – торопливо закружилась мысль.

Нахлобучив кепку, он шагнул вперед, через порот, прямо в объятия городского.

– Сто-ой!

Откуда-то из-за выступа дома отделилась темная фигура и повисла на левой руке Адольфа, с испуганным и пронзительным визгом:

– Держи-и!!!

День Адольфа кончился.

VII

В ночь с четверга на пятницу – Адольф был арестован; в среду – к дому № 8 на Тихоновской улице подходил усиленный наряд полиции. Шли боковой дорожкой, в тени сосен, почти незаметными, сливающимися с деревьями, темными призраками. Впереди двое тихо разговаривали – пристав и человек в штатском. С Сокольнического круга разбегались последние звуки оркестра.

Человек в штатском говорил, понижая голос до шепота:

– Придется оцепить кругом. Во дворе есть кладовая аль сарай. Там главное надо. Улов должен быть!

– Ул-о-ов!! – передразнил злобно пристав. – Залепят в лоб из маузера, вот и... поймаешь!

Он зябко повел плечами и замедлил шаги.

– Н-н-ничего, Иван Филиппыч, н-н-не зал... не залепят, Иван Филиппыч! – заикаясь, торопливо стал его успокаивать штатский, и голос у него вдруг осел и засипел, как сырое полено. – Не залепят, Иван Филиппыч, бог не без милости, Иван Филиппыч!..

– Какой тут бог?! – раздраженно оборвал его пристав. – Он, что ль, сидит в браунингах? На прошлой неделе, в Суцевском, пошел вот так же Климов...

Пристав глотнул недосказанное.

– А я, Иван Филиппыч, я завсегда на такой несчастный случай, когда, скажем, подходишь примерно к двери, за какой должно укрываться преступное лицо, я, Иван Филиппыч, завсегда следуя указаниям военной хитрости... Стукнешь, телеграммка, скажем, или что там еще выдумаешь... Стукнешь, а сам этим моментом в сторонку от двери, или присядешь на корячках. Так что случается, бахнет через дверь, а я цел и невредим, без всякого повреждения!

– Капаюк! – подозвал пристав одного из городовых. – Возьми четверых к воротам. Двоих оставишь у дверей. Двоих по сторонам, на дороге поставь. Если увидишь – бегут и на оклик не остановятся – стрелять! Понял?

– Так точно, ваше в-дие! – громко бухнул городовой.

– Т-sss! – иступленно зашипел пристав. – Осел! Скотина!

Эфиоп! Тише! Слушай... Двор оцепить с соседних владений по трое. Да не зевать! Смотри у меня! Сгною. Понял?

– Так точно! Никак нет! – сразу на все ответил Капаюк и, отставая, стал подтягивать в кучу наряд.

Терраса одной из дач, затянутая парусиной, была освещена. По парусине передвигались огромные тени; тихий звон посуды доносился оттуда; слышались голоса:

– Мальй в трехах.

– Пасс!

– Пасс!

Пристав покосился туда и вздохнул:

– Вот живут же люди, как подобает!.. Эх!.. Служба, будь она треклята. Дали б им, чертям, конституцию эту, или это самое учредительное собрание... бомбы только не позволять делать, да оружие отобрать...

– Никак это невозможно, Иван Филиппыч! – помолчав, вздохнул штатский, – тогда у нас с вами никакого отечества не может быть! Оплот престола и верноподданнические чувства должны погибнуть втуне, Иван Филиппыч...

Не доходя дома № 8, остановились. Пристав переложил браунинг в карман шинели. Капаюк отдавал тихие приказанья и, когда темные фигуры бесшумно рассыпались по назначенным местам, подошел к приставу.

– Так точно, ваше в-дие, готово!

Пристав всмотрелся в темную дачу впереди и, торопливо перекрестившись, повернулся к штатскому, приглашая впе-

ред:

– Ну?

Штатский попятился.

– Уж вам, Иван Филиппыч, вы уж первый! Вам уж... Я уж за вами, Иван Филиппыч! Вы уж как начальник... Можно даже сказать, вроде главнокомандующего. Уж вы вперед!

– Тьфу! – свирепо отплюнулся пристав. Молча поправил лаковый пояс и пошел решительно вперед, крикнув: – Капаюк, за мной!

– Здеся, ваше в-дие!

Капаюк с винтовкой выдвинулся вперед, открыл калитку и, все ускоряя шаги, застучал сапожищами по ступенькам террасы.

VIII

На узком листке бумаги Николай что-то писал мелким убористым почерком, когда вошла Наташа. Толстый том Олара "История Французской Революции" лежал перед ним на столе, раскрытый. Смутившись, Николай торопливо спрятал узкий листок в карман пиджака.

– Что это вы, конспект составляете? – спросила Наташа. Ее глаза пытливо устремились к карману, куда Николай спрятал бумажку.

– Н-ет, это я так писал! – смутился еще более Николай и, густо покраснев, отвернулся. – Я вас совсем не ждал, хотите

чаю?

Лицо Наташи закрывала густая вуаль. Она не подняла ее; присела у стола и, придвинув том Олара, начала медленно его перелистывать.

– Очень хорошая книга! – сказал Николай. – Может быть, вы чаю хотите?

– Нет-нет, я тороплюсь, – отклонила Наташа, – я к вам на минутку.

За стеной в соседней комнате старческий голос, добрый и ровный, ворчал:

– Озорник ты мой, непослушный-ый! Опять выпачкался весь, трубочист ты эдакий!.. Вот возьму хворостинку да чик-чик-чик! Не хочешь?!

– Это моя хозяйка с Марсиком... Кот у нее, Марсик, – пояснил с улыбкой Николай прислушивавшейся Наташе. Наташа тоже улыбнулась, но, словно спохватившись, схоронила улыбку – серьезная, строгая, посмотрела на Николая.

– Завтра надо поехать в Салтыковку, – заговорила она, быстро перелистывая страницы книги вздрагивающими бледными пальцами, – там у нас на даче есть оружие, литература и еще кое-что. Надо все это перебросить в другое место. Вы знаете товарища Семена? Нет?

Николай слушал с сосредоточенным вниманием.

– Он будет ждать вас там, на платформе, на скамье. В руках у него будет газета "Утро России". Запомните? Вы подойдете и попросите прикурить. Он с папироской будет...

Он спросит: "Который час?" С ним вы пойдете на дачу и поможете.

– Товарищ Семен, "Утро России", папироса, который час, – повторил Николай.

– Да, да!

– Салтыковка?

– Да.

На окне лежала недоеденная колбаса и ватрушка, над постелью портрет Лассалья, пришпиленный кнопками, и Писарева – в черной рамке; стопочка книг на самодельной полке из дощечки и веревочек; а на спинке узкой кровати деревянное, из холста, полотенце с вышитым красным петухом.

– А что, у вас мама есть? – спросила Наташа.

Николай покачал головой.

– Умерла?

– Да, и папа и мама...

Николай, заметив, что взгляд Наташи остановился на расстегнутом вороте его рубахи, торопливо застегнул высокий черный воротник на все три белые пуговики.

– А когда мне ехать туда? – спросил он.

– С поездом в десять тридцать.

– Я могу и раньше! Я ведь очень рано встаю!

– Почему?

– Я привык. И я очень люблю утро! Когда я просплю, мне все кажется грязным, старым...

– Семен будет ждать вас там к одиннадцати, – перебила

Наташа, внимательно смотря на него. Ее взгляд был странный: так смотрят на вещи, и так смотрит человек, когда он один.

И опять добрый старческий голос вошел в комнату через стену:

– Не будешь больше? Нет? Смотри, какой ты у меня чи-истенький, беленький, как снежок!.. Скоро кушать будем, молочко будем пить!.. Ах ты, м-мой...

Слова зарылись в пушистый поцелуй.

Наташа посмотрела на стену, откуда доходил этот ласковый, певучий голос, и, повернувшись к Николаю, тихо проговорила:

– Николай, слушайте... Скажите... скажите мне одной...

Николай вдруг и весь насторожился и впился глазами в лицо под густой вуалью.

– Что-о?

Наташа захлопнула книгу. У Клавдии Поляковой было лицо с такими же невинными глазами и большим ртом...

– Вы не перепутаете, что я вам сказала? – договорила она, вставая. – Не забудьте, поезд в десять тридцать, Салтыковка, товарищ Семен...

– "Утро России", прикурить, который час! – с улыбкой докончил Николай. – У меня память отличная. Все будет сделано в точности. Разве я когда-нибудь что-либо напутал?

– Н-нет!

– А после зайти к вам? – спросил Николай.

– После?..

– Когда все сделаем? – пояснил Николай.

– Да, да! Конечно, конечно! – поспешно проговорила Наташа.

– Во сколько зайти?

– Когда хотите!

– Вечером, часов в восемь, в девять, хорошо?

– Да, да! До свидания!

Наташа торопливо застучала каблучками по крутой лестнице.

– Осторожно! – вслед ей кричал Николай, стоя на площадке и перегнувшись через перила. – Лестница у меня гадкая, не упадите, до свидания! До завтра!

Наташа не оглянулась. Не ответила.

В раскрывшуюся парадную дверь ворвалась шумная, грохочущая улица. Николай улыбался, стоя на площадке, и долго глядел вниз, где скрылась Наташа.

IX

Ветер неслышно шевелил и передвигал по деревянной платформе осенние листья. Листья были блеклые, нежные, еще не совсем утратившие зелень, и от ветра казались живыми. Прозрачная грусть осени озаряла все предметы и лица особенным, чистым светом, небо было глубоко и просторно и дышало свежестью, как голубой огромный водоем.

На одной из скамеек сидел человек и читал "Утро России". Он часто посматривал в сторону Москвы, откуда должен был прийти поезд. На нем было непромокаемое пальто с поднятым воротником. Окурки усеивали платформу у его ног. Он жег одну папиросу за другой. Взад и вперед мимо него бродили одиноко осенние дачники. Газетчик несколько раз предложил ему журнал. Когда вдали показался поезд, человек в непромокаемом пальто вдруг ужасно заторопился; скомкал газету и сунул ее в пальто; потом быстро пересек платформу, пути и очутился на другой платформе — для поездов, идущих в Москву. Застегнув пальто и вздернув плечи, отчего лицо его ушло еще глубже в поднятый воротник, он отошел в конец платформы и стал смотреть в сторону, обратную той, откуда подкатывал поезд. Как сковорода с маслом, шипящий паровоз прополз мимо, разделит вагонами две платформы, постоял, свистнул и потащил дальше темно-зеленые коробки. Среди немногочисленных пассажиров, вылезших из поезда, был Николай. Он быстро и весело прошел платформу из одного конца в другой, от скамьи к скамье, и, удивленный, осмотрелся. Взглянул на часы. И еще раз, но уже медленнее, пошел вдоль платформы, мимо скамеек. Увидя на другой стороне неподвижную фигуру в непромокаемом пальто, Николай нерешительно пересек линию, направляясь туда. Человек в непромокаемом пальто, стоявший к нему спиной, оглянулся как раз в тот момент, когда Николай подходил к нему. Две пары глаз встретились.

Человек в непромокаемом пальто зашагал от Николая. Николай догнал его. Обходя справа, бросил взгляд на карман пальто, откуда торчала газета "Утро Ро...". На поднятом воротнике заметил две металлические кнопки. Торопливо достав папиросу и неумело вставив ее между указательным и средним пальцами, Николай повернулся к человеку в непромокаемом пальто:

– Позвольте прикурить!

И еще раз две пары глаз встретились. Человек в непромокаемом пальто сунул вперед свою папироску и хотел пройти дальше, и уже сделал несколько шагов от изумленного Николая, но вдруг резко повернулся и спросил!

– Который час?

– У-уф! – вздохнул облегченно Николай. – Вы товарищ Семен? Я Николай, от Наташи.

Пожали друг другу руки. Николай всмотрелся в лицо Семена и наморщился, что-то припоминая. Семен глядел в сторону, внимательно рассматривая рельсы.

– Сядем на минутку! – предложил Николай. На скамье он еще раз всмотрелся в Семена и зажмурился.

– Я никогда вас не видал, но я вас знаю, – заговорил он тихо, не открывая глаз. – Вот и пальто это припоминая, и кнопки на воротнике...

Николай был одет в ту же черную с тремя белыми пуговками рубашу, как и вчера, когда пришла к нему Наташа.

Семен, украдкой рассматривая Николая, ежился будто от

сырости и был не в силах подавить охватившую его мелкую дрожь. Она напознала от этой близости с Николаем, сидевшим рядом, плечом к плечу, и мелко трясла ноги, руки и песком поскрипывала на стиснутых зубах.

– Я вчера был в опере, – громко сказал Семен, – у моей хозяйки сын в оркестре...

Говоря это, он ладонями крепко накрыл дрожь острых колен своих. На левой руке у него не хватало одного пальца. Николай заметил это и спросил:

– Что это у вас? Вы...

Семен перехватил взгляд голубых глаз, устремленных к его дрожащим коленам, и плотно сжал их; потом попытался натянуть на них полы непромокаемого пальто, но тут же порывисто встал. Не глядя на Николая, выговорил тихо и твердо:

– Идем!

– Далеко идти? – спросил Николай.

– Во-он туда! – указал Семен на сосновый бор за полотном дороги. – Там нас ждет еще один товарищ. Вставайте!

В лесу к Семену и Николаю присоединился Ваня – крепкий, коренастый рабочий в рыжем картузе и стеганом пиджаке. Он молча поздоровался с Николаем за руку. Шли все трое, рядом, по мягко шелестевшей листве и хвое. Пахло прелью и рекой. Около большого пруда Семен свернул с дороги в лес.

– Тут короче! – коротко пояснил он.

В лесу было так тихо, как бывает только осенью, когда слышен шорох падающей ветки. Не было птиц. Сосновый бор напоминал пустой покинутый жильцами и огромный дом. Николай оживленно рассказывал о лесах в Нижегородской губернии и, останавливаясь, запрокидывал голову, любясь глубокими, голубыми колодцами неба в просветах вершин.

– Как сла-авно! Смотрите! Далеко еще нам?!

– Нет, скоро! – односложно отвечал Семен и раза два выразительно посмотрел на Ваню.

– Здесь и дач-то нет!

– Там дальше будут.

Семен замедлил шаги.

– Я закурить хочу. Ваня, хочешь?

– А я нарочно купил десяток "Дюшес", – остановился и Николай, – я ведь не курю! Наташа сказала, чтоб я попросил у вас прикурить, вот я и купил. Хотите? Возьмите, пожалуйста, себе! Возьмите, мне же не надо!

Он протянул желтую коробочку папирос Семену.

– Не надо. Идите, идите! – странным голосом сказал Семен и изменился в лице. – Идите вперед, я... сейчас.

И лишь только Николай повернулся, Семен дернул из кармана браунинг и торопливо выстрелил ему в спину.

– А-ах! – остро и удивленно вскрикнул Николай, повертываясь. Правая нога у него высоко вскинулась при повороте. Какое-то мгновение он казался гимнастом, застывшим на

одной ноге, перед тем как сделать замысловатый трюк. Его светлые с просинью, безумно раскрытые глаза остановились на лице Семена, и был ужас глаз этих огромен. Семен и Ваня почти одновременно выстрелили еще раз, не целясь, в эти глаза.

Желтая коробочка с папиросами "Дюшес" описала полукруг, выскользнула из распутившихся пальцев, и упала у ног Семена.

Николай уткнулся лицом в желтую, влажную листву, выпрямляя ноги в заплатанных ботинках.

X

Когда в сумерках, рассеиваемых светом зажженных в улице фонарей, вздрогнул и забился, как пойманная птица, звонок, у Наташи вырвалось дрожащее и изумленное:

– А-а-а...

Звонок повторился настойчивый и резкий.

В комнату прошел, тяжело ступая, Семен. И стал по середине. Свет уличного фонаря падал на его лицо. Наташа подошла к нему близко-близко. Его лицо и глаза сказали ей все. Наташа ничего не спросила. Семен молчал. Молча протянул Наташе листок бумаги, исписанный наполовину мелким, убористым почерком. Наташа зажгла лампочку, и дрожали у нее руки, развертывая бумажку...

Николай не дописал письма "миленькой сестрице Лизань-

ке". Не дописал о Москве и новых товарищах, среди которых есть прекрасная женщина, ради которой он готов на самую страшную жертву...

"...у нее в глазах такое же чистое и бездонное небо, как в поле, когда лежишь на спине во ржи. Ее зовут Наташа, она..."

Здесь письмо обрывалось. Здесь пришла к нему, в его маленькую комнату с недоеденной колбасой и ватрушкой, прекрасная женщина с чистыми, как небо, глазами; пришла Наташа, чтобы дать ему последнее поручение.

Наташа ладонью разгладила скомканный лист бумаги, с темным пятном на одном из углов... И шепотом спросила Семена:

– Ты читал?

Семен ничего не ответил. Мотнул головой и остался так же стоять, выпрямленный, деревянный. Большой рот его резко обозначался на худом лице, и – казалось – губы были сжаты страшной силой и не разомкнутся никогда. Лишь изредка смешно подпрыгивала левая бровь.

Наташа провела рукой по лбу. Упорно Семен смотрел на нее. Она села у стола и долго, бережно разглаживала узкую полоску бумаги с темным пятном.

– Ты вынул это у него из кармана пиджака, из левого? – спросила Наташа и добавила тише. – Он положил его тогда в левый карман. Я вспомнила... Вчера это... Что ты смотришь так?

Неустрашимый, молчащий, стоял Семен перед Наташей. И еще раз Наташа провела по лбу рукой.

– Семен?

Семен был ее учеником. Она направляла первые шаги его в революционной работе. Семен молился на нее и был предан ей, как предан человек смерти – неотвратимо.

– Семен?..

Абажур лампы затенял его лицо – впадины и бугорки на нем обозначались резко, как на камне. И каменным был молчаливый, неподвижный рот – большой, грубый, прямой.

– Семен?.. – в третий раз проговорила Наташа и встала. Подошла близко к Семену, глядя на его замкнутый рот. Было слышно, как глубоко дышал он. Наташа положила ему на плечо легкую руку; потом тихо провела ладонью по взлохмаченной голове его и, отойдя к окну, выпрямилась там. Но почти мгновенно, словно крикнула улица что-то ей, она оторвалась от окна и в упор подошла к Семену.

– Семен, а что, если мы... ошиблись?.. – одним дыханием закончила она, кладя на плечо ему руку и страстно всматриваясь в остановленные на ней чужие, незнакомые глаза.

У Семена заклокотало в груди и в горле. Большой рот дернулся. Он снял руку Наташи с плеча и передвинулся от Наташи на один шаг. Потом еще и еще. К двери. С порога его глаза, холодные и злые, протянулись к Наташе.

– Я исполнил постановление комитета, – жестко проговорил он и два последних слова повторил еще раз.

Наташа съежилась. Зыбким стал пол. Похолодевшие пальцы заметались по воротничку блузки, и оторванная пуговица одиноко стукнулась о пол.

Медленно Наташа повторила:

– Да, да! Вы, товарищ, исполнили постановление комитета.

Хлопнула дверь, отрезая убегающие шаги Семена. Наташа была одна.

XI

В дежурную комнату вошла неслышно сестра и тихо позвала по имени врача, уткнувшегося в газету.

– Вас очень просит больной из четвертой хирургической...

Сбросив пенсне и потирая переносицу, доктор посмотрел на сестру, что-то припоминая, и быстро встал. Застегнул халат.

– Он очень плох, – проговорила сестра, – почти все время в забыты...

Доктор вскинул плечи и развел молча обеими руками, как бы говоря: "Мы с вами сделали все!" Сопровождаемый бесшумно ступавшей сестрой, он быстро прошел по коридору, через большую палату с двумя рядами коек и колоннами посередине, и осторожно открыл дверь в отдельную палату № 4.

На койке, укрытой светло-коричневым одеялом, лежал

Николай. Забинтованная голова и шея сливались с подушкой, и повязка резко подчеркивала лихорадочно яркие глаза. Увидя доктора, он зашевелился, но доктор ласково остановил его:

– Тссс! Не волнуйтесь и лежите смиреннько!

Сестра подала доктору стул. Он сел и взял руку Николая, нащупывая пульс. Николай закрыл глаза. Он дышал короткими неровными вздохами, и в груди зловеще похлопывало. Когда врач бережно опустил его руку на одеяло, Николай открыл глаза.

– Доктор... я с одним... с вами хочу... – прошептал он с усилием, размыкая бескровные губы с запекшейся в уголках кровью.

Сестра вышла и прикрыла за собой дверь.

Николай положил свою руку на руку доктора.

– Я умру скоро... умоляю вас... пошлите записку... Я не могу умереть так... Пошлите, она придет, она не может... умоляю, доктор...

Николай смолк, и бессильно опустили веки... Доктор нахмурился. Часы этого юноши, привезенного с тремя тяжелыми ранами в больницу, были сочтены. Ничто не могло спасти его. Кто он, кто его ранил? За что? – доктор не знал, но вся обстановка и его слова говорили о страшной, необычной драме.

– Дайте... бумагу... каран... даш, – зашептал опять Николай, – я не могу так... Обещайте мне, доктор! Я все, все

скажу вам, она... расскажет...

Доктор вынул записную книжку и карандаш, сам вложил в прозрачные пальцы Николая.

С мучительными усилиями царапал карандаш по бумаге, выскальзывал и падал на одеяло. Два раза доктор подносил к губам Николая питье.

– Не уходите! – говорил доктор сестре, выходя из палаты. Запечатав записку в конверт, он немедленно отослал ее по адресу с привратником.

Наташа приехала через полчаса вместе с привратником, проводившим ее в комнату дежурного врача. Врач встретил Наташу с хмурой сдержанностью и пригласил идти за ним. Испуганно озираясь на длинные ряды коек, с молчавшими на них фигурами больных, Наташа шла молча, ни о чем не спросив доктора. Перед дверью четвертой палаты врач остановился.

– Подождите здесь!

И несколько мгновений, пока он был в палате, легли в сознание Наташи тяжелыми пластами одной огромной жизни, которую не было сил изжить до конца... Длинный, мягко освещенный коридор уводил глаза к неведомой двери в конце. Было в нем тихо, и белые бесшумные фигуры сестер, изредка пересекавших его, оставляли после себя напоминание о чьих-то страданиях, боли, смертях. И каждая молчаливая дверь в нем говорила о том же, а все вместе – и тишина эта, и белые сестры, и запахи лекарств, и вся эта скорбь – уво-

дили невольно мысль туда, где в молчаливом лесу крестов и памятников на могильных плитах лежат печальные надписи об отошедших в иной мир... "Вкушая, вкусих мало меду, се аз умираю..."

Доктор из двери сделал Наташе знак рукой, приглашая войти. Неуверенным порывом Наташа очутилась в палате.

Восковая, прозрачная рука была покорно и беспомощно вытянута по коричневому одеялу... Это первое, что увидела Наташа.

Николай лежал, слегка запрокинув голову. И так как у него были закрыты глаза – белое лицо, марля на голове и подушка сливались в одно. Его измененное лицо показалось Наташе далеким-далеким, будто напоминание о другом, знакомом в живом Николае.

Подойдя к изголовью, Наташа всматривалась в это лицо и запоминала каждую складку и тень. Было тихо в палате; торопливо тикали часы в кармане у доктора.

Наташа позвала:

– Николай!

Николай открыл глаза и, глядя на Наташу, словно медленно узнавал ее. Ссохшиеся, темные губы шевельнулись и не могли разлепиться. Николай сделал какое-то последнее усилие, чтобы заговорить, и вдруг из уголков его глаз, устремленных к Наташе, выкатились две крупные, медленные слезы...

Одним слабым движением губ прошептал он что-то и

опять был бессилён разлепить клейкие губы, которые уже целовала смерть. Закрылись глаза, и ресницы протянули чуть заметные тени.

Наташа упала лицом к холодной руке на одеяле; щекой слышала, как слабо шевельнулись пальцы...

XII

Вениамин Аполлонович, встревоженный, усадил Наташу в кресло. Её бледное, без кровинки, лицо было жутко освещено лихорадочными глазами. Вениамин Аполлонович пристально всмотрелся и побледнел.

– Что с вами?!

Наташа протянула ему обрывок бумажки.

Разбегающимися буквами на клочке были нацарапаны крупные, разорванные слова:

"Меня убили... Кто меня убил? За что меня, товарищи, убили, скорее скажите, я умру, скорее скажите, мне страшно, за что же? Никого нету, приходите же скорее, в больнице умираю. Николай".

Вениамин Аполлонович впился глазами в лицо Наташи.

– Он умер?

Наташа наклонила голову и зарыдала.

– Я была в больнице... Ночью умер... Там врач – меньшевик, он прислал эту записку... Что, что мы сделали?! Боже мой! Я не могу!

– Товарищ Наташа! – строго сказал Вениамин Аполлонович. – Слышите, товарищ Наташа! Опомнитесь!

Его твердая и тяжелая рука легла на голову Наташи. Наташа порывисто вскинулась, сбрасывая руку.

– Вы понимаете, что это?! – шепотом, с безумными глазами, проговорила она. – Пони-ма-ете? Мы убийцы! Мы убили нашего то-ва-рища!

Проговорила и ждала, исступленная, острая, как боль ожога.

– Успокойтесь, Наташа, возьмите себя в руки. Записка не опровергает ничего: написать...

– Как?! – с выкриком выпрямилась Наташа. – Вы думаете, что эта записка – ложь, что он лжет в ней?!

– Успокойтесь! Я ничего не думаю. Я говорю, что эта записка не опровергает фактов. Обыск в Салтыковке – факт.

– Нельзя лгать перед смертью! – опять перебила его Наташа, и опять ровный глухой голос Вениамина Аполлоновича повторил:

– Успокойтесь... Вы утверждаете, что мы ошиблись? Пусть мы ошиблись. Я вас спрашиваю: во имя чего совершенна эта страшная ошибка? Отвечайте. И кто виноват? Вы? Я? Адольф? Нет, Наташа! Они-и!

Вениамин Аполлонович грозно вытянул руку к раскрытому окну.

– Они, Наташа, все те же наши враги, враги народа. Эта жертва на их чашу бесчисленных грехов и преступлений. И

они заплатят нам за нее... А мы?! Мы подняли новую ношу на наши перегруженные плечи. Не согнуться бы, Наташа, родная, не ослабнуть бы, не попустить... Вот что нам остается. Не сломаться в этой борьбе... под этой ношей!.. А-а-х!!

Он хрустнул пальцами.

– Ведь мы-то должны продолжать наш путь, Наташа. Мы-то остались жить. А каково нам будет идти с таким... с этим страшным грузом?!

Наташа притихла. Она подумала о Семене.

Она ушла от Вениамина Аполлоновича поздно вечером. На груди под кофточкой уносила бережно сложенный обрывок бумаги, исписанный крупным почерком, – последнее письмо Николая. Ее красивое лицо было похоже на мертвое лицо затворницы. Строгий и молчаливый Вениамин Аполлонович проводил ее до двери и в дверях молча поцеловал в лоб.

С двумя полосками на серебряных погонах человек взглянул на часы, ударившие восемь раз, и взял телефонную трубку. Назвал номер коротко и повелительно и ждал, подпирая бровями оседавший на глаза большой, неумолимый лоб.

– Алло... Ну... что у вас хорошенького?

В трубке зашипело, кашлянуло, и голос глухой, ровный пополз оттуда:

– Чуть было не сорвалось, полковник...

Набирая на жесткий, окантованный воротник мундира складки шеи, человек в погонах наклонил голову и слушал,

выразительно играя бровями.

Часы показывали десять минут девятого. Вениамин Аполлонович Гудим положил трубку и сел в кресло. На костлявое лицо вылезла странная улыбка и шевельнула волосатые уши.

Коротенькая женщина

I

Почему все мужчины такие гадкие? – думала Туся, тщательно подкругляя пилкой полированные, розовые ногти. – Сами же лезут целоваться и дальше, а... потом – зевают?!"

Жорж Семенцов обещал вчера идти в оперетку, а когда нацеловался – вдруг вспомнил, что у него есть какое-то неотложное дело, и ушел с такой торопливостью, будто боялся, что у него попросят займы.

"В следующий раз ни за что не позволю ему!.. – твердо решила Туся. – И Вовка сейчас придет, и ему тоже не позволю".

В час, когда должен был прийти Вова, в комнату вместо него вошел незнакомый человек в лохматой шапке и, осмотревшись, протянул Тусе ордер на право занятия ее комнаты. Туся сперва не поняла, а когда поняла – всплеснула руками.

– А как же я?!

Незнакомец еще раз оглядел комнату, посмотрел на Тусю и сказал:

– Придется вам куда-нибудь перебраться... Вы одна здесь живете?

– Ну конечно же, одна!

– Мне нужна комната. Вы нигде не служите?

– Нет.

Незнакомец пожал плечами и повторил:

– Мне нужна комната. У меня совершенно нет времени заниматься опять поисками, да и бесполезно это! Город набит до отказа.

На глазах Туси задрожали слезы. Голубая тесемочка торчала у нее из-под кофточки и смешно дрыгала от готовых прорваться всхлипов. Беспомощно она повела глазами по комнате, словно прощаясь со всем, что в ней было, и, не выдержав, всхлипнула.

Незнакомец сдвинул на затылок лохматую шапку и досадливо почесал переносицу.

– Как это все неприятно!.. Послушайте... – он посмотрел на ширмы в углу, потом на Тусю, – может быть, вы пока там вот, в углу, ширмами как-нибудь... Пока, а там что-нибудь придумаем.

Туся тоже посмотрела на ширмочки, потом на незнакомца. У него был досадливо наморщен лоб.

– Я совсем не хочу выбрасывать вас на улицу! – добавил он.

Туся смахнула слезинки и, заметив торчавшую голубую тесемочку, поспешно спрятала ее.

– Давайте познакомимся, – вздохнул незнакомец, – как прикажете вас величать? -

– Туся.

Подумавши, незнакомец спросил;

– Это... По-настоящему-то как?

Тусю все, всегда и везде звали Туся. А если и случалось где-нибудь в обществе, кто-нибудь называл "Наталия Андреевна", Туся оглядывалась по сторонам, ища глазами Наталию Андреевну, и мило краснела, вспомнив, что Наталия Андреевна – это она, Туся...

И тут, не поняв сперва, чего от нее хочет этот незнакомый, в лохматой шапке, сероглазый человек, она долгое мгновение смотрела на него, недоуменно шевеля подкрашенным ртом. Потом торопливо сказала:

– Наталия Андреевна.

И так странны и чужды были для нее эти два слова.

– Ну вот! А меня – Василий Петрович!

II

Лежа за ширмочками, Туся подсматривала в щель. Василий Петрович сидел у стола над толстой книгой. Туся, запоминая его профиль с четко изогнутым подбородком, спросила:

– Василий Петрович, который час?

– Два.

Василий Петрович не прибавил больше ни слова; шуршал страницами и накручивал на указательный палец русский ви-

хор, а Туся была уверена, что после ее вопроса он заговорит с ней.

Из смежной комнаты доходил мерный заглушенный стук чьих-то тяжелых шагов. Думая о другом, Туся невольно от-мечала их одним и тем же счетом: два, два... два!.. Слышала мелкий торопливый бег маятника часиков, висевших над постелью.

"Почему он не такой?.." – думала Туся о Василии Петровиче и не доканчивала мысли. Ей хотелось сказать: "не такой, как Вова, Жорж", – но она чувствовала, что Вова и Жорж тут не к месту. Перебирала в уме других знакомых, тянулась глазами к фотографическим карточкам над туалетным столиком и опять обводила долгим, запоминающим взглядом профиль Василия Петровича. Наутро проснулась, разбуженная шипением примуса. Василий Петровичпил черный, как деготь, чай и, просматривая бумаги, совал их в старенький портфель.

– Василий Петрович, который час?

– Половина десятого.

Голос у Василия Петровича был густой, как мед. Попив чаю, он сунул в карман револьвер, забрал портфель и торопливо ушел. Когда хлопнула за ним калитка, в дверь к Тусе сунулось крысье лицо старушки полковницы из комнаты напротив.

– Ушел? – шепотом спросила она.

– Ушел.

Полковница вошла и подозрительно посмотрела на деревянный диван, служивший Василию Петровичу постелью.

– Багаж-то у него какой есть?

– Портфель и вон чемоданчик!

– Обедает-то где?

– А мне и в голову не приходило, Евдокия Борисовна, где же он, правда, обедает?! – искренне изумилась Туся.

– Все они, большевики, дома не обедают, боя-ятся! – осторожно зашептала полковница. – Боятся, мышьяку подсыплют им... Что ж, и не раздевается, когда спит-то?

– Нет, раздевается.

– Не пове-ерю! И не раздевается, они никогда не раздеваются, нехристи.

Крысье лицо с седыми усиками потемнело; сжав высохшие кулачки и положив их один на другой, полковница зашипела, смотря на образ в углу:

– Уж дождю-усь, дождусь, когда из них кишочки пускать будут!

Туся посмотрела на старенькую полковницу, и ей стало страшно. Она представила себе Василия Петровича лежащим на полу и кого-то, кто пускает из него кишочки. И просяще протянула:

– Не на-адо-о! Евдокия Борисовна, не на-до-о!

– Надо! Надо! Надо! – застучала кулачком о кулачок полковница. – Вы смотрите в оба, неспроста вселился он, неспроста.

Ш

По стене над туалетным столиком были размещены в три яруса фотографические карточки. Вверху висел в вишневой рамке корнет на вороном коне. Под ним – еще корнеты, поручики, юнкера; ниже – карточки актеров в задумчивых позах, и совсем низко, под актерами, – несколько дешевеньких фотографий людей в кожах. Эти три яруса карточек над туалетным столиком Туся были тремя эпохами ее жизни. За месяцами и годами шпорного звона, вечеров, свиданий и встреч наступили годы без кондитерских и балов, с ослеплыми без магазинов улицами, когда только у актеров остались смокинги и разглаженные брючки, и только в них еще, казалось, теплилась так внезапно отошедшая в прошлое прекрасная, блистающая огнями жизнь. Потом пришли люди чужие, незнакомые, в кожаных куртках и галифе, с витыми шнурами наганов. Они не сторонились при встрече и не говорили галантное: "Ах, простите!" Они пахли ветром и паровозом. Туся сперва пугалась их, но... под кожами стучало все то же глупое, а быть может, мудрое сердце человеческое...

– Почему вы никогда со мной не разговариваете? – повернулась Туся от туалетного столика к Василию Петровичу.

Василий Петрович только что пришел и возился у стола, вытаскивал из портфеля бумаги.

На вопрос Туся он посмотрел на нее так, как будто в пер-

вый раз ее увидал. Пропустил сквозь пальцы густую шевелюру и улыбнулся.

– Не разговариваю? Гм... Ну давайте разговаривать!

У Туси было серьезное лицо.

– Знаете что? Налаживайте чай, а у меня есть конфеты, – весело заговорил Василий Петрович, – и... будем разговаривать!

Из кармана шинели он вытащил горсть конфет и рассыпал их по столу.

– Вот, видите!..

Никогда Туся с такою заботливостью не хлопотала, готовя чай. Накрыла стол чистой скатертью и для конфет поставила вазочку с длинной ножкой, похожую на одуванчик.

– Совсем как по-настоящему! – улыбнулся Василий Петрович и неожиданно спросил: – Сколько вам лет?

– Мне? Двадцать четыре.

Брови Василия Петровича изумленно пошли вверх, но он ничего не сказал. Отошел к туалетному столику и стал рассматривать фотографии: корнетов, актеров, поручиков...

– Это все ваши знакомые?

А Туся мучительно думала: "Зачем он рассматривает? Зачем я не убрала все эти карточки?" В первый раз, словно крупная дождевая капля, упала откуда-то мысль о жизни, прожитой не так. Туся умоляющими глазами потянулась к Василию Петровичу, как бы говоря: не надо, не надо об этом!

В одиннадцать Василий Петрович, отодвинув пустой ста-

кан, потянулся к портфелю. В движении его руки, отставившей стакан, было невысказанное:

– Ну-с, поговорили? Теперь не мешайте мне!

И у Туси было такое ощущение, будто и ее куда-то в сторону отодвинула эта рука. Так освобождают рабочий стол от ненужных бумаг, перед тем как приняться за работу.

Вытащив из портфеля бумаги, Василий Петрович чему-то улыбнулся и засвистел. Из-за ширмочек Туся долго с тоской смотрела на его четкий профиль.

IV

Так прошло какое-то количество дней.

Как воры, крадущиеся в темноте, в город вползли тайные слухи о наступлении белых. Полковница стала чаще навещаться в комнату к Тусе и спрашивала:

– Сбежал аль тут еще?

Василий Петрович исчез накануне той ночи, когда на город в сырую предрассветную тьму прыгнул первый тяжелый вздох орудия, а наутро в покинутый красными город вошли белые.

В комнате после него осталось две книги и постель. В одной из книг Туся нашла недописанное письмо. Письмо начиналось словами: "Моя родная Катерина..."

Василий Петрович писал о своей жизни в новом для него городе, о товарищах по работе и о многом еще. Туся жадно

глотала слово за словом и от каждой строчки возвращалась к первым словам: "Моя родная Катерина..." Образ незнакомой женщины вставал из письма – властно и неотвязно. С ней говорил Василий Петрович как равный с равным. Каждое слово его было простым и мужественным. Не "Кити", не "Каток", не "Катюша"...

Туся, подняв голову от письма, лежавшего перед ней на подушке, и куда-то всматриваясь заострившимися глазами, шепотом, раздельно произнесла:

– Ка-те-ри-на...

И слушала каждую букву.

"...а живу я в одной комнате с Тусей, – писал в конце Василий Петрович, – это разновидность существ в коротеньких платьицах, в тридцать лет выглядящих девочками, с уменьшительными именами; вмещающих в себя – так мне думается – уйму коротеньких любвишек; в двух словах – коротенькая женщина..."

Исступленно впиалась Туся в каждую букву. Запомнила покривившееся "любвишек"; запомнила каждую запятую. И, оторвавшись от письма, стукнула туфельками по дивану и замотала головой, как лошадь, которую неожиданно и больно ударили.

"разно-видность существ..." – пыталась она еще раз перечитать, но крупные строчки выступили из берегов, и капля за каплей мокрое, неодолимое размазывалось по письму фиолетовыми кляксами.

По-щелячи, тоненько заскулила Туся, уткнувшись в письмо.

День, пустой, длинный, странный, наливался и налился горечью. Время не существовало. Задерживая всхлипы, Туся поднимала голову, режущими глазами всматривалась перед собой и видела Катерину. Катерина прочитала уже это письмо. Катерина смотрела на Тусю оттуда, из прочитанного. Так смотрит снисходительно сильный на уродца. И был мал день, и не хватало ночи, чтобы вместить пять коротких строк недописанного Василием Петровичем письма.

Туся не знала – утро было ли, полдень ли или уход дня. Чужие руки бросили в комнату резко и настойчиво стук.

– Откройте!

Было странно, непонятно, и было страшно, что стучат, когда весь мир притаился и был как пропасть – бездонно тихий.

– Откройте!

Вооруженные, подозрительные вошли люди. Не было ни одной вещи в комнате, к которой бы не бросился настороженный глаз. Чернобородый офицер – на груди Георгий, в руке браунинг – посмотрел удивленно на встрепанную, с припухшим носиком девочку.

– А вы кто?

Туся ответила не сразу. Припоминала что-то и собрала на лбу складки.

– Наталия Андреевна Круглопольская.

Офицер смотрел на нее, она – куда-то.

– Вы одна здесь живете?

– Одна.

– Гм... А тут жил один... то-ва-ри-щ? Где он?

– Тут, тут был! – просыпалась злобно в разговор крысья полковница и даже вперед тиснулась, – тут вот и постель его, и диван его, и чемоданишко вот...

Офицер сгреб в кулак бороду и потянул далеко в сторону стрелковидный ус.

– Вы не знаете, куда он улизнул? – спросил он Туся.

Туся посмотрела в ту сторону, где был деревянный диван, служивший постелью Василию Петровичу. Василий Петрович, когда читал, близко придвигал к дивану большой круглый стол и садился так, что Тусе из-за ширм всегда был виден его четкий профиль.

Выпрямляясь, прямо в глаза Туся посмотрела офицеру, чувствуя, как всю ее заполняет незнакомое доселе, огромное, новое ощущение; будто вдруг выросла она, выросла в Катерину, написанную крупными, каждый слог отдельно, буквами, твердо и величаво: Ка-те-ри-на.

– Если бы и знала, я не сказала бы вам! – ответила она громко, не отрывая взгляда от лица офицера.

Офицер чуть наклонился и сощуренно всмотрелся в Туся.

– Почему же вы не сказали бы? Вы тоже красная?

Туся кивнула головой.

– Да.

Полковница всплеснула руками:

– Господи Иисусе! Она с ума спятила?! Не верьте, не верьте ей, оговаривает себя, не в уме!..

– Во-от оно что-о?! – протянул офицер, кому-то весело подмигивая. – Кра-асная?! Но тогда я вас арестую.

А Туся, выпрямленная, уносилась в растущем восторге к неведомому новому; видела себя иной, видела себя Катериной, и Василий Петрович уже ей, равной, писал письма.

– Арестуйте! Я не боюсь!

– О-о, какая же вы храбрая! – улыбнулся офицер. – Обязательно арестую, на весь вечер... Поужинаем вместе, а?

Он сделал движение взять Тусю за подбородок.

Туся растерянно отодвинулась. Широко раскрытыми глазами посмотрела на офицера, на полковницу и на других... Все улыбались.

Засмеялся и офицер:

– Ну-у не бу-ду, не бу-ду, не хныкайте! Ах, вы... большевичка! – покрутил он головой. – Значит, вы не знаете, куда скрылся этот мерзавец?

Комната опустела.

Туся как стояла посреди комнаты, так тут же и опустилась на пол и закрыла руками лицо в неслышном и безутешном плаче.

Солдат революции

Человечий пронзительный всхлип захлестнулся в воздухе, и на него обернулся Яков Шевчук, сдернув с плеча винтовку...

На освободившихся путях, там, где в поворот уползла последняя цистерна большого состава, трепыхалась нелепая куча... С платформы, странно подпрыгивая и размахивая руками, подбегал к ней начальник станции. Бежали еще люди – стрелочник, мешочники. Из вокзала выскочил лохматый телеграфист, мотнул головой по сторонам и побежал туда же...

Шевчук подошел...

Первое, что он увидел, был мешок с рожью, лопнувший и выпачканный нефтью и кровью. Потом – ворох тряпок, буро-красная гуща, заголенная нога... Оскал свежих, крепких зубов жутко оживлял молодое мертвое лицо, и, казалось, вот-вот шевельнется оно и, приподнявшись с рельса, посмотрит на всех живыми глазами.

– Сколько раз говорил – снимать с буферов! Сколько раз говорил... Ну, какого черта вы смотрите?.. Сколько раз говорил!.. – плачущим голосом выкрикивал начальник станции сторожам и охранникам.

Молчали все. Молчали и неотрывно глядели на раздавленную. Мужичонка Ефим Кауров с огромным мешком на

спине протиснулся вперед, всмотрелся в мертвую и завздохал:

– Баба-то молодая! Вот она-а, жисть-то наша ка-ка-ая! И не угадаешь! И к тому же – дите в ней ни в чем не повинное.

Сумрачный стрелочник отвернулся от трупа, сплюнул и сказал хмуро:

– Темнота! Сказано: не лазь на буфер!..

– Эх, мил-человек, – вздохнул мужичонка с мешком, – легко сказать это! Не лазь на буферу! Сказать все одно – дыхнуть! Беспоследственно, мил-человек! А вникнуть – душа не сосед, есть-пить просит!..

– Ржица-то матушка просыпалась.

И снова вздохнул, мотнув головой на мертвую.

– Без надобностей ей теперь! Эх!..

– Нешто подобрать?

Шевчук сурово двинул винтовкой.

– Не тронь! Отойди!

– Я ништо, почтенный, я... – торопливо отодвинулся Ефим, – я к тому: все одно без надобностей ей... Ржица-то!.. А я – ништо, я ведь с понятием, ежели... Детки-то небось жду-у-ут теперь, – жалостливо прогнусавил он, помолчав. – Эх, жисть!

И заковылял куда-то под откос, на ходу поправляя огромный мешок за спиной.

Шевчук зашагал к караульному помещению.

– Шевчук!

Шевчук, лежа, чуть повернул на зов голову, открывая глаза.

– Ты зачем на зарезанную бабу долго глядел? – спросил караульный Васька.

Румяная улыбистая рожа Васьки Стучилина склонилась над ним. Стучилин, как бык нагульный. Щеки, губы того и гляди брызнут красным соком. Не любил его Шевчук. Знал, что для видимости Васька к охране примазался. От фронта. И в охране спекулянством занимался; как был лавочник, так и остался им, жадный до денег и, похабный в словах.

– Что ж молчишь?

Яков Шевчук приподнялся на локтях. Замутил голубизну глаз давней злобой и глухо переспросил:

– Чево?

– Ничего! Проехали! Думаешь, в партию записался, так тебе все можно? – не унимался Васька, но отодвинулся чуть от мутневших голубых глаз: тяжелели они, будто свинцом наливались. – Ты знаешь, теперь декрет есть. Как в партию занумероваться, так чтоб к бабам ни-ни, не подходи! А подойдешь – к стене! Это нашему брату можно. Мы несознательные! А ты обрадовался, заголенную бабу увидел, час целый разглядывал...

– Замолчи!

– И молчать нечего!

Шевчук выпрямился и посмотрел в угол, на винтовку.

– Отойди! – тихо выговорил он.

И на одну короткую минуту стало тихо-тихо в карауле. И было слышно, как тяжело дышит Шевчук.

– Стучилин! – позвал старший Лука Иваныч. – Брось, по-ди сюда. В город поедешь.

Васька с лъстивой готовностью подскочил к столу.

– В командировку, Лука Иваныч?

– Ведомость отвезешь...

Васька приложил к козырьку руку и колесом выкатил грудь, подмигивая ребятам.

– Служу революции!

– Кстати, хины оттуда захватишь.

– Можем и хиной раздобыться... Только разрешите мне сперва, Лука Иваныч, на денек в отпуск отлучиться? Бельишко сменить и прочее...

"Опять туда масло повезет, а оттуда мануфактуру..." – с тяжелой тоской думал Шевчук, закрывая глаза.

* * *

Поздно вечером притащился перегруженный бесконечный "Максим". Скотские вагоны до крыш были набиты человеческим живьем и мешками. Выходили в темноте по голо-

вам, ребрам, животам. Задыхались от духоты и вони, и мешки берегли больше, чем ребра.

Ефим Кауров, подпрыгивая и поправляя прилаженный за спиной огромный мешок, тыкался от вагона к вагону, из одного конца поезда в другой, и клянчил:

– Кормильцы, да сжалобьтесь! Третью неделю сесть не могу, допустите! Семь человек мал мала меньше ждут. Третью неделю...

– Валяй в конец, там свободно!

– Там прицепка!

– Не пуцают, был! Примите, касатики!..

– Лети грачом! Сказывают – некуда!

Проходивший по платформе Яков Шевчук остановился и прислушался. Потом решительно подошел к вагону, перед которым клянчил Ефим Кауров.

– Эй, там, открой!

– На энтой неделе приходи! – отозвался насмешливый голос из-за двери.

Шевчук ударил прикладом в дверь.

– Открой, говорю!

Дверь чуть приоткрылась. Кто-то выглянул в щель и, увидев винтовку, испуганным, сдавленным голосом бросил назад:

– Ребята, заградительный!..

– Лезь! – скомандовал Ефиму Шевчук. – Живо!

– Сичас, один секунд, товарищ... – захлебнулся неужи-

данным счастьем Ефим Кауров. Проворно, как обезьяна, зацепился за поручни и тиснулся в приоткрытую дверь. – Спасибо, соколик, выручил из беды неминучей! Я с краешку... Вот тут, не беспокою... мне вершочек один и надоть-то! Я, товарищ...

Из глубины вагона завозилось, зашипело, зацкало потревоженное живое.

– Молчу, молчу, почтенные, молчу! – забормотал Ефим Кауров, устраиваясь на мешке у двери...

* * *

"Всем надо... – думал Шевчук, медленно направляясь дальше по платформе мимо глухо гудевших, как улы, вагонов, – сейчас его не пускают, а доедет до следующей станции, он не будет пущать. Так и едут: к себе жалостливые, а к другому лютые. Время такое – человек потерялся, один другого не видит".

У одного из вагонов стоял Васька Стучилин. Дверь в вагон была полуоткрыта. В то время как во всех других вагонах было темно, в этом тускло горел фонарь, и было просторно. Человек в железнодорожной форме спрыгнул оттуда и торопливо стал отсчитывать деньги Ваське. Васька, заметив приближавшуюся фигуру Шевчука, что-то тихо сказал железнодорожнику, и оба они отошли в конец платформы, в тень от багажного лабаза.

Шевчук подошел к вагону и заглянул в дверь.

Вагон наполовину был завален мешками и узлами. Несколько человек сидели на нарах и пили чай.

– Свои, товарищ! Организация! – подскочил один из них к двери, увидев голову Шевчука, всунувшуюся в дверь.

Шевчук ответил ему тяжелым взглядом. Не сказал ничего.

Вдали на полотне метнулось что-то живое, серое. Шевчук сощурил глаза и перехватил винтовку. Вышедший на смену Фомичев подошел сзади и тоже стал всматриваться, зевая и ежась, со сна. Уже можно было различить человеческую фигуру. Кто-то быстро бежал по полотну, спотыкаясь и припадая к земле. Фомичев разглядел первый.

– Бабкин, с моста... – проговорил он и вдруг забеспокоился.

– Чего это он? Кричит что-то! Слышь!

– Подожди! – остановил его Шевчук, пристально всматриваясь.

– Банда! – крикнул вдруг Фомичев, расслышав, и стремглав бросился к караульному помещению...

Через минуту, окруженный плотным кольцом охранников, Бабкин рассказал, что к мосту на седьмой версте подступают банды, а через полчаса две платформы с паровозом уже готовились выехать к мосту. На платформах были навалены шпалы и мешки с песком, образуя прикрытие, поставлены два пулемета и разместились двадцать вооруженных людей.

– Смотри за телеграфистом! Сволочи они! – приказывал

Шевчуку Лука Иваныч, влезая на паровоз. – Приставь к нему Бабкина!.. Кольт за бугром приладь, в случае... Ежели "она" пойдет – оттуда, больше неоткуда!

Перепуганный машинист трясся и слезливо просил Луку Иваныча:

– Семейство у меня... Освободите!

Лука Иваныч, вытаскивая наган, сказал:

– Я вот те освобожу!

И упер ствол нагана в небритую щеку машиниста.

– Ежели да ты... Понял? Чхну – и нет! Трогай!

Машинист с отчаянием повернул рычаг, и, когда паровоз уже тронулся, он высунул голову и крикнул двоим ребятишкам, крутившимся все время около паровоза:

– Паша, детки мои, Степа, скажите матери – не ждала... проп...

Шум колес и пара заглушил слова.

Ребятишки пробежали некоторое время рядом с уходившей летучкой, потом остановились, посмотрели друг на друга с плаксивыми лицами, как бы спрашивая один другого: "Нешто зареветь?"

– Побегем в караулку, пулемет смотреть! – неожиданно предложил Степка, почесав под коленкой. Посмотрели вслед уплывавшей в поворот платформе и разом оба стремглав понесли к станции.

Обежав все закоулки станции, заглянули в фонарную. Там Васька Стучилин напихивал в мешок торопливыми и трясущи-

щимися руками непроданные катушки, камешки для зажигалок, цветные платки...

– А к нам банда идет! – в спину ему крикнул Пашка. Крикнул звонко, весело, будто с праздником поздравил.

– Убирайтесь отсюда, пархачи! – свирепо цыкнул Васька. Он тискал мешок и торопливо думал: "Успеть бы! Если Тишка с ними – ничего! А то... В Ржаксе двух своих исковыряли... эх, мать... До села лугом три версты, больше не будет! В присадник – и гайда!"

Затянул туго вещевого мешок, поддернул голенища хромовых франтоватых сапог, где были николаевские и керенки, и проворно, оглядываясь, скользнул на крыльцо.

– Куда?

Голубые глаза – как стенка, о которую с разбегу стукнулся лбом, – откинули Ваську назад. У крыльца стоял Шевчук. Шинель – застегнутая наглухо; через плечо – пулеметная лента и на поясе – пара гранат.

Васька вспыхнул, потом побледнел. Перевел дух и, набирая злобу, грудью надвинулся на Шевчука.

– Отойди!

Голубые неморгающие глаза в упор смотрели на него. Как каменный врытый столб, тяжело стоял Шевчук перед крыльцом, расставив ноги и уперев приклад винтовки в нижнюю ступеньку.

– Пусти! – сдавленно глотнул выпирающую злобу Васька. Они стояли грудь с грудью, так близко друг к другу, что

Васька слышал ровное, короткое дыхание Шевчука.

– Иди назад! – выговорил Шевчук, не шевелясь ни одним членом и не спуская с Васьки упорного взгляда.

– А тебе что? Ты старший?

– Иди в телеграф, к Бабкину!

– Я в отпуску. При тебе Лука Иваныч сказал...

– Никакого отпуска сейчас! Боевой пост... – с расстановкой, ровным голосом произнес Шевчук и прошел следом за Васькой до двери в телеграфную.

– Тут и будь пока!

* * *

Шевчук, неторопливо обойдя станцию, вышел к бугру, к пулеметчикам, и своим ровным, немного глухим голосом объяснил дистанцию прицела.

В это время глухо громынуло, и почти сейчас же застучал торопливый молоточек.

– Наши! – шепотом проговорил лежащий у пулемета и побледнел. Все слушали. Когда пулемет смолк, в один голос двое сказали:

– Замолчал...

– Посматривай больше туда вон! – указал Шевчук рукой на перелесок, слева от железнодорожной линии. – В случае если, то – оттуда "она". Ляжьте все, бугор видать далече... Я пойду взгляну в станцию. Может, депеша есть.

Пашка и Степка встретили Шевчука у палисадника. Лица у обоих были потные и, как у волчат, блестели глаза. Перебивая один другого, словно играя взапуски, они начали рассказывать Шевчуку, что один дяденька побежал куда-то из станции и что у него тугой мешок...

Шевчук пересек палисадник и вышел на платформу, в конец.

– Вот он! Вот он! – в один голос закричали ребяташки, скидывая руками.

По откосу насыпи, пригнувшись, убежал Васька Стучилин.

Шевчук снял винтовку и, поудобнее уставив правую ногу, старательно прицелился. Ребяташки, жадные захватить все: и пульку, вылетающую из ствола, и убежавшего дяденьку, крутили белобрысыми головами от винтовки к Ваське и от Васьки опять к маленькой дырке в конце ствола. И, как у галчат в гнезде, были раскрыты их рты.

Треснуло...

Васька Стучилин широко взмахнул руками, выпрямился и покатился под откос, ворочая, как крыльями, серыми полами шинели.

Там и остался лежать неподвижно мутным пятном.

Освобожденные воды

I

Трещины изморщили потемневший лед. Река дулась, как тесто. С каждым днем глинистая кайма обрывистого, невысокого правого берега становилась все Щже и Щже. И казалось, – опускается берег.

Весеннее солнце сгоняло последний снег и торопило сотни хлопотливых ручейков.

В мелколесье левого берега суетились птичьи голоса. Среди них особенно резок был бестолковый, скрипучий стрекот длиннохвостых сорок, снующих целые дни по голому осиннику.

С юга тянули косяки гусей. С упругим свистящим шелестом проносились стаи уток, и плыли в прозрачных сумерках медлительные журавли.

По утрам на берег Вороны приходили деревенские парни, девки и ребятишки. Толпился суетливый весенний гомон. Все было полно ожидания.

Ленька каждый день приставал к старому Игнату, караулившему бывшую барскую усадьбу:

– А когда лед тронется? А завтра тронется? А послезав-

тра?..

Невозмутимый Игнат, собирая в памяти многолетний опыт, раздумчиво говорил:

– Не должно быть, чтобы теперь тронулась она...

– А почему?

– Потому – ночь светлая, месяц!.. Река завсегда темной ночью трогается...

– А почему ночью, дядя Игнат?

– Завсегда ночью... На моей памяти не было, чтобы днем.

Положение такое!

– Дядя Игнат, а я ноньче гусей видал! И мно-о-ого-о!!

На обожженном зноем и стужами коричнево-красном лице Игната разбегались лучики. Он улыбался Леньке беззубым черным ртом.

– Лед пройдет – самый раз вентиря ставить. Налиму тут – тысячи!.. А гусь – строгий, взять его тру-удно!

От дяди Игната Ленька мчался к полуразрушенному барскому дому, где в двух уцелевших комнатах поселился Егор Петрович, уполномоченный грачихинского кооператива, заарендовавшего у исполкома усадьбу с паровой мельницей.

Бурно врывался в комнату пахнувший весенним ветром, навозом и талой землей воздух.

– Егор Петрович!

Егор Петрович откладывал в сторону карандаш и счеты.

– Егор Петрович! А я ноньче гусей видал. И-и-х, и много-о-о!!

– Ну-у?

– Ей-бо-огу! Тыщу штук будет!

– Ты считал? – улыбался Егор Петрович.

– Двести... Сто штук будет, верно слово, не вру! – сбавлял

Ленька.

– Вот подожди, лед пройдет, – на селезней с тобой поедем.

– Сразу поедем? Только-только пройдет, и поедем? – загорался Ленька. – А когда лодку шмолить? Давайте ноньче шмолить?!

– Отец где сейчас?

– В машинном... А я папаньку спрашивал: можно, говорю, с Егором Петровичем на охоту? А он говорит "можно". Верно слово! Сами спросите! Я и Лизе сказал...

При имени Лизы лицо Егора Петровича оживилось. Подтянув к себе Леньку за руки, он спросил:

– Ну, а она что?

– Ни-чего! Ба-аба...

Обидные слова сестры о необсохшем молоке на губах Ленька повторять не хотел.

* * *

Из окна комнаты Егора Петровича был виден обрыв.

В закатный час, когда косые, негреющие лучи протягивали розовые длинные тени, на берег приходила Лиза...

Она приходила всегда одна и, если кто-нибудь появлялся,

сейчас же уходила плывучей, медленной походкой.

"Тоскует", – думал Егор Петрович у окна, и ему хотелось потихонечку прокрасться к ней через сад, взять ее крепко за плечи да тряхнуть, да зыкнуть так, чтобы лед на реке треснул, чтобы тоска, как пробка из бутылки с шипучим квасом, в потолок хлопнула.

Силищи в Егоре Петровиче много было.

Хотелось, чтоб кругом все ходуном ходило...

II

Первой и главной заботой Егора Петровича был сорока- сильный дизель на мельнице.

Дизель был мертв.

Второй месяц хлопотал около него старый Иван Федорович. Подгонял, нарезал, сваривал, чистил. И десять раз на день в машинное забежал Егор Петрович.

– Ну, как?

– Стучим, Егор Петрович!

Иван Федорович размазывал по лицу копоть, нефть и пот и сверкал ослепительными зубами. Егор Петрович ходил вокруг дизеля, щупал, похлопывал и вздыхал:

– Э-эх, кабы пошел!

– Пойдет, Егор Петрович!

– Пойдет?

– Должен пойти.

– Не пойдет – живьем съест меня общество!.. Моя ведь затея-то! Я ведь уговорил кооператив заарендовать усадьбу с мельницей. Я обнадежил!..

– Пойдет! Все в исправность приведем, – уверенно говорил старый машинист. – Вот с шатуном закончил. Теперь пусковой клапан, проверку должен сделать...

– А что, правда, сказывают, с умыслом попорчено? – спрашивал Егор Петрович. – Говорят, Сергей Сергеич-то всю ночь портил перед тем, как уйти отсюда?

Иван Федорович стаскивал кожаный картуз и скреб в лохматой голове.

– Порча, действительно, есть, которая с умыслом... Коромысло, скажем, у насоса или вот тоже впускной клапан... А только скажу, – без понятия все сделано! Ежели кто с понятием – подними нефтяной насос на три миллиметра, ну и... нипочем не узнать! Пришлось бы снимать картер и рамы проверять... Позавчера в город я ходил, в милицию... Да-а! Иду, смотрю – он сам, Сергей Сергеич. "Ну что, говорит, пустили мельницу, что ль?" Спрашивает, а сам эдак посмеивается. Хотел сказать ему: нехорошо, мол, так, Сергей Сергеич, образованным людям достояние народное портить! Да сдержался... Вот он какой!

– Ни себе, ни людям! – сплюнул Егор Петрович. – Откуда в них злобы этой?

– Темной души человек, – покрутил головой Иван Федорович, – и очки на нем желтые... Ничего не видать за ними...

Глаз свой хоронит... Я примечал, Егор Петрович, который человек глаз хоронит – обязательно нутро в нем темное!

– Черт с ним! – отмахнулся Егор Петрович. – Как только наладим дизеля, заработаем, тогда пусть приходит злобиться... Сита новые поставим, мужики повезут на свою мельницу. Каждый для себя стараться будет.

– Это непрем-енно так! – убежденно согласился Иван Федорович. – Своя, общественная мельница – сила!

– Пусть приходит тогда!

– Он и то собирается... Приду, говорит, посмотрю, как новые хозяева хозяйничают на чужом добре...

Ш

Потомственный дворянин Сергей Сергеевич Королев очень любил живописные виды и усадьбу свою поставил на обрыве высокого берега Вороны, на самом острие треугольника, образованного крутым изгибом реки.

С обрыва открывался просторный вид на левый берег, поросший чернолесьем. За чернолесьем – город. На первом плане – казарма из красного кирпича. Из-за них – пять золоченых глав собора.

Сидя на обрыве, Сергей Сергеевич часто мечтал о любимом проекте своем: перекинуть воздушный мост с обрыва в город. Над чернолесьем, озерами, болотами – к собору. По прямой линии версты четыре.

Мечтательность была в роду у Королевых.

Дед Сергея Сергеевича, Артемий Королев, всю свою жизнь о белом цвете мечтал. В его имении все было белое. Лошади, коровы, быки, овцы, куры, собаки, кошки – белые, без единой отметинки. Все другого цвета безжалостно уничтожалось. Все постройки, экипажи были выкрашены в белый цвет; и дворовые люди, и управляющий – все белобрысые; и когда родился сын у него, будущий отец Сергея Сергеевича, с черными, как у негра, кудряшками, Артемий Королев в колыбели лишил его наследства...

Младший брат Сергея Сергеевича – Андрей, умерший от чрезмерного пристрастия к алкоголю, тоже мечтал до самой преждевременной смерти своей. Его мечта была скромная: взобраться на кочетыгах на телеграфный столб против губернаторского дома и там "стебнуть", как говорил он, полбутылку.

Достройка паровой мельницы в имении, где протекала великолепная река, явилась результатом четырех роберов винта, за которыми прогоревший сосед развил мысль об американизации хозяйства... Сергей Сергеевич всегда тяготел к американской культуре... И мельница была построена.

Когда над порогами Вороны запыхтел сорокасильный дизель, Сергей Сергеевич устроил торжественный обед.

На этом обеде самой замечательной была речь полицмейстера.

– В наш век машин и паров, – полицмейстер говорил так

же зычно, как на пожаре, – я приветствую в лице этого грандиозного произведения первую победу над косностью слепой природы и темной невежественностью народа, утопающего в лени и водке до потери сознания и сыновних чувств, ведших государство наше к расширительным завоеваниям... Урра-а!!!

Обед продолжался четыре дня.

На четвертый день, когда пили уже не в доме, не за столом, а в саду, под яблонями, кто-то сказал:

– Хорошо бы теперь выпить под жареного чирка!

Андрей Королев призвал кучера, дал выпить стакан крепкого коньяку и сказал:

– Садись и разыщи Кучума! Скажи: Андрей Королев приказал сейчас же доставить чирят, а не доставит- голову отверну, а тебя разочту! Понял? – налил кучеру второй стакан и добавил: – Пусть сдохнет, а чирята чтобы были! Пшел!!

Кучер поклонился и рысью побежал к конюшням, а через час Кучум появился под яблонями с чирятами.

Его появление встретили разноголосым ревом и даже рукоплесканиями.

– Ку-чу-мка-а!

– Ге-ге-ге!

– Го-го-го-о! Мо-ло-дец!

– Ка-чать его, сукина сына!

– Ай да Кучум! Ай да мерзавец!

– Иди сюда, неумытая харя!

Кучум стянул с головы рваный картузишко и низко поклонился господам.

– С праздничком вас и прочее! Наше вам почтеньице!

– Принес?

– Обязательно, государь! Чирок особенный!

– Ну, иди сюда, пей!

– Налить ему меланже с искоркой!

Меланже с искоркой – слитые остатки из всех стаканов и для крепости – щепоть перцу.

– Много лет здравствовать!

Кучум потрянул вихрами и единым духом осушил стакан.

– Покорнейше благодарим!

– Налить ему еще! Подожди закусывать, черт сиволапый!

Подбавить чистого.

И с чистым выпил Кучум, а через полчаса раскорячился.

– А кто я есть такой? Вы – господа, значит, а я кто есть?

Арря!

Слово "арря" имело в устах Кучума какой-то таинственный, известный ему одному смысл. И всегда за ним следовало выразительное ругательство.

– Арря-я! – по-козлиному проблеял еще раз Кучум, выругался скверно и, повернув к господам зад, шлепнул по нему ладонью.

– Вот вам чего!

Андрей Королев сзади подошел к Кучуму и треснул его по уху.

Кучум пластом растянулся на траве

Девятипудовый Андрей Королев сел на него верхом, двинул его по другому уху и начал командовать:

– Веревок! Вяжи ноги! Вяжи руки!

– О-о, ой-о-ой! Ре-жу-ут! Ка-ра-у-ул! – вопил Кучум, не пытаясь освободиться.

Пегий кобель прыгал вокруг с трусливым лаем, бессильный помочь хозяину.

Полицмейстер запустил в кобеля пустой бутылкой из-под шампанского.

Откуда-то притащили двенадцатиаршинную толстую слегу и крепко прикрутили к концу ее Кучума.

– Поднимай теперь, ну! – скомандовал Андрей Королев. – Привязывай к яблоне!.. Крепче!

Кучум, очутившись на двенадцатиаршинной высоте, сразу протрезвел и стих. Сперва молча посматривал вниз. Потом смиренно начал просить:

– Смилостивьтесь, отпустите полегоньку!

– Пой скворцом! – снизу кричал ему Андрей Королев.

– Спустите, явите такую милость! Кончаюсь!

– Пой, сукин сын, скворцом!

– О-ой, пустите, кончаюсь!

И Кучум заголосил что было мочи:

– Ка-ра-у-ул! Конча-а-аюсь, ой-ой-о-о!!!

Пегий кобель, задрав морду, сидел в сторонке и подвывал, вскинув смешно одно ухо.

Кучум кричал до хрипоты.

С тех пор осип на всю жизнь.

Этим завершилось торжественное открытие паровой мельницы в имении потомственного дворянина Сергея Сергеевича Королева.

Мельница через год стала. Муку приходилось продавать в убыток, чтобы конкурировать с двумя паровыми мельницами в городе. Пошла мельница в год войны, когда Сергей Сергеевич получил казенный подряд. В эти годы барыши воскресили умирающую мечту о постройке воздушного моста, но революция вымела Сергея Сергеевича из насиженного гнезда.

В ночь перед тем, как уйти совсем из усадьбы, Сергей Сергеевич долго возился в машинном отделении, загоня гвозди в цилиндры, отвинчивая гайки, ручки и все, что можно было пихнуть в карманы, а потом с обрыва в реку...

– На-те, выкусите!..

IV

– Э-о-о-о-о! Ле-енька-а-а!!

Из машинного отделения кубарем выкатился Ленька, осмотрелся и, увидя на обрыве Егора Петровича, понесся к нему, звонко шлепая по лужам.

Добежал и, изумленный, остановился.

Река была в движеньи. И глухо ворчала.

Огромными полосами лед передвигался книзу. Льдины сталкивались, расходились, цеплялись краями за берег и, медленно крутясь, останавливались, образуя затор. Подходили сверху новые льдины. Глухо ломались от удара при столкновении; погружали один конец в воду и становились торчком, обнажая нижнюю часть, блестящую и прозрачную, как стекло, и вся масса льда останавливалась. Было слышно журчанье воды. Мелкие суетливые льдинки звенели. В их звонком шелесте каждый отдельный звук был слышен отчетливо и казался близким. А снизу, от моста, доносился глухой гул и треск. Там льды, бессильные сокрушить предмостные быки, взмывались по ним до самых верхушек и, надрезанные железом, ломались, рушились, грохотали вниз и исчезали, уносимые мутными потоками воды.

Ленька рассеянно глядел на реку неуспевающими захватить всего глазами. С раскрытым ртом, еще полусонный, он словно оцепенел.

– Что, брат, проспал? – шлепнул его по плечу Егор Петрович.

– Когда же это она?

Егор Петрович набрал полную грудь ветра.

– Эх, картина! – сказал он и загоготал: – Ог-го-го-го-о!

Но его голос утонул в ветре и шумливой возне льдов.

Ленька почесал живот.

– Егор Петрович, а почему лед не тонет?

– Легче воды он, вот и не тонет.

– А если тяжелее, тогда чего?

– Тогда?

Егор Петрович подумал.

– Тогда весны не было бы!

– Почему? – испуганно посмотрел Ленька сперва на Егора Петровича, потом на реку.

– Дотошный ты, Ленька! – усмехнулся Егор Петрович. – Сам сообрази! Чего тогда получится? Лед утонет, на дно опустится, а воду наверх выжмет, а эта вода опять замерзнет – и тоже вниз. Ну? Так до самого дна вся речка промерзла бы, и никакой жары не растопить! Понял?

Ленька мотнул вихрастой головой. Подумал и сказал:

– И тогда вентирей ставить нельзя?

– Венти-ре-ей? Тогда никакой рыбы не было бы!

– А лето?

– Чего лето?

– А лета тоже не было бы?

Егор Петрович задумался и вместо ответа спросил:

– Лиза встала?

– Чай собирает... Егор Петрович, а лодку ноньче смо-
лить?

– Смо-лить ло-одку? – переспросил Егор Петрович, думая
о другом, и, словно эхо, повторил: – Ноньче смолить.

Ленька завизжал от радости и повис на руке Егора Петровича.

– А что, если сто штук убьем? Намедни я ворону у ко-

нюшни – ке-эк дам! Она – брык! Наповал, верно слово, Егор Петрович! Да-але-еко сидела...

– Лен-ня! – раздалось сзади.

Из-за угла барского дома вышла Лиза и, увидя Егора Петровича, остановилась.

– Леня, пить чай иди!

– С добрым утром, Елизавета Ивановна! – крикнул Егор Петрович.

Как добрая лошадь, принятая на вожжи, он весь сразу запружинился и зазвенел каждым мускулом.

– С ледоходом, с весной вас! Идите полюбоваться с нами на реку!

– Нет, нет, Егор Петрович, сейчас мне никак нельзя... – чуть испуганно проговорила Лиза, – папаша чай будет пить!..

Голос у нее был низкий, глубокий, и говорила она растягивая слова, не торопясь. Худенькая и легонькая до того, что в ветер Егору Петровичу за нее страшно было.

"А ну, как взвихрит, поднимет и унесет, как перышко?"

– Все-то дела у вас, Елизавета Ивановна!.. Свободной минутки, погляжу, нету.

Егор Петрович крепко зажал в широкой и сильной ладони маленькую худую руку Лизы и отпускать не торопился. Говорил, заглядывая под длинные ресницы, трепетно набегавшие на синие глаза.

– Весна теперь и побездельничать можно часок-другой.

– Пустите! – проговорила Лиза, тихо высвобождая руку. –

Папаша ждет, Леня, идем!

– А сама гадает на вас, Егор Петрович! – выпалил неожиданно Ленька. – Верно слово – на бубнового короля!

Лиза вспыхнула и, круто повернувшись, пошла прочь.

– Лизавета Ивановна! Лизавета Ивановна! Подождите! Слово одно сказать!

Лиза не оглянулась.

V

Закатав рукава рубахи выше локтя, Егор Петрович чистил ружье. На полу напротив него сидел на корточках Ленька, разинув рот, и внимательно следил за каждым его движением. У дверей высокий и прямой, как сосна, несмотря на свои семьдесят лет, стоял дядя Игнат.

Промыв стволы, Егор Петрович смазал их, протер насухо тряпкой и протянул Леньке.

– Ну, теперь смотри!

– Эх, и блести-и-ит! – проговорил Ленька, щуря глаз и смотря на свет лампы то в один, то в другой ствол.

– За ружьем ухаживать надо! В порядке чтоб всегда, понял? Пришел с охоты – сейчас же чисть! Вычистил, повесил, а потом садись сам есть, пить, спать... Теперь замки будем чистить...

– Как все приспособлено ловко! – вздохнул дядя Игнат, наблюдая за Егором Петровичем, ловко и быстро вывинчи-

вавшим замки. – До всего человек домекался!.. А у меня, вон, одноствольная была, утятница... С пистолетом которая. Мученье, бывало, с ней примешь! А чтоб чистить – никогда не чистил! Двадцать лет ходил с ей и ни одного разу не прочищал... А вдарит, бывало, ну прямо тебе сказать, все одно – из орудий!..

– Теперь таких нету, дядя Игнат!

– Нету, нету... – вздохнул Игнат, – это действительно! Похитрел человек. А что, Егор Петрович, правду сказывают – ружье теперь обдуманно: стрельнет, а ничего не слышать?

– Бесшумное, значит?.. Не знаю... Врут!.. Потому, что хочешь тогда делай, кого хочешь убить можно безнаказанно... Не допустят!

– Я полагаю тоже – не должно этого быть! Духу в таком ружье неоткуда быть... Вон, у Сергея Сергеича ружьев-то много было. Хоро-о-шие, аглицкие были! Ну, а без толку, потому не охотник он...

– Много у них кой-чего без толку было, – с внезапной злобой сказал Егор Петрович. – Дармоеды!

– Теперь хорошо, вольготно стало!.. Хошь – на коблы ступай, аль вот в озерки насупротив, – продолжал Игнат. – Присад тут хороший. А при ем бывало – упаси бог! Только услышит – стрельнет кто, сейчас Федора кличет. Федор у его вроде за приказчика состоял... "Беги, говорит, отнимай ружье! Кто без моего дозволения стрелять может?" А сам аж весь затрясется... Во-олчья порода! А до женского сословия охоч

был – бе-да! Девок понапортил – те-мно! Завистойной!

Дядя Игнат покрутил головой и, помолчав, добавил;

– Вон сестра-то... – Игнат кивнул на Леньку, – через это самое дело жизни решиться хотела.

Егор Петрович выпрямился. Потемневшим взглядом впился в дядю Игната.

Потом быстро взглянул на Леньку.

– Леня, добеги-ка к себе... Вот что... Добеги-ка, отверточек там, понял, маленький... Поищи у отца, для замка вот...

– Папашка в город ушел.

– Ты поищи!.. Найдешь там какой-нибудь... Ступай, ступай!

Ленька вышел.

Оставшись вдвоем с Игнатом, Егор Петрович долго молчал. Перекладывал с места на место замки, цевье. Дунул за чем-то в пустой патрон. И, не смотря на Игната, спросил:

– Про Лизу говоришь?

– Про ее самое...

Что-то пожевал беззубым ртом Игнат, сгреб бороду в кулак и потянул книзу.

Продолжал невозмутимо.

Долгая, трудная, семидесятилетняя жизнь, освобожденная от любви и гнева, глядела из слов его прозрачным глазом последнего покоя. Людские горе и радость легли в память окаменелыми пластами, и Игнат, как киркой камень, отламывал скупые слова.

– О Петров день было... Перед тем как Николая свергнули – за год будет. Отца не было о ту пору. На Петров день мельница не работала. С бабой на покос в Шевлягинскую степь уехал. Леньку с собой взяли тож... Случилось это вечером, в эту вот пору. Я в караул заступил. Слышу, с крыльца сам кричит: "Поди, говорит, Лизавету позови посуду помыть!" А стряпуха действительно на деревню ушла, и был он во всей помещении одинешенек. Знал я повадку его. Думаю – не сдобра кличет девку... Пошел, говорю: "Барин кличет, посуду помыть!" А она веселая была. "Сейчас" – говорит... Годов семнадцать, поди, было ей...

Затаился Егор Петрович.

Левая рука, лежавшая на столе, захватила и стиснула цевье от ружья. И вздрагивали напряжившиеся мускулы.

Дядя Игнат неторопливо достал берестовую табакерку.

– Не отведаешь? – предложил Егору Петровичу.

Егор Петрович отрицательно мотнул головой.

– Не утерпел, я сказал ей: "Не ходи ты к нему!" А она смеется... "Он, говорит, конфеток даст". Да-а! За своим, значит, горем жизнь послала. Во-от оно что!.. Долго ли, коротко, глядь-поглядь – в саду я был, у кручи, – бежит она на кручь эту самую. И ка-ак я ее перехватил – ума не приложу?! Право-слово! Довел я, это, ее до дому, а она, как дурная... Рехнулась совсем и вся тряской трясется. Стал я тут разговор с ей вести. Так всю ночь около ей и просидел. Перво-наперво и слушать ничего не хотела. Я ее на хитрость тогда...

Так и так, говорю, вытащут тебя из речки. Доктор вскрытие произведет и доподлинно все увидит, что и как... Поверила! Глупая была... С тех пор ее и не узнать! Восковая стала. И слова не услышишь, а до работы – завистней нету!

Егор Петрович долго сидел, опустив голову. Потом хрипло сказал:

– Дядя Игнат, ты...

Посмотрел на него тяжелыми глазами и, не дожидаясь ответа, ничего не сказав больше, вышел в сад, как был – в одной рубахе, не застегнув ворота.

Лиза сидела в горнице и читала Некрасова "Кому на Руси жить хорошо".

Егор Петрович вошел, не постучавшись, и она вздрогнула, когда сказал он:

– С добрым вечером, Лизавета Ивановна!

А потом смутилась и стала поправлять скатерть.

В отсутствие Ивана Федоровича никогда не заходил к ним Егор Петрович.

И вдруг зашел. Да и чудной он был.

Взлохмаченный. Глаза блестят. В одной рубахе, без пиджака; ворот нараспашку, и рукава закатаны выше локтя на волосатых руках.

От этих волос на руках и на груди стыдно стало Лизе. Не решалась взглянуть на Егора Петровича.

Опустив голову, стояла у стола и ладонью разглаживала скатерть. Егор Петрович перевел дух.

– Лизавета Ивановна! Выходите за меня замуж! – сказал он твердо и громко.

Лиза побледнела.

Исподлобья кинула растерянный взгляд на Егора Петровича, и вдруг ее губы дернулись, будто перед тем, когда человек вот-вот заплакать готов... Вздогнувшая рука смяла угол скатерти.

– Я за этим к вам пришел. Сказать это самое... За этим именно и пришел, Лизавета Ивановна! Услышать от вас хочу. Больше ничего! Выходите замуж за меня. За этим именно пришел, Лизавета Ивановна!

– Не на-до, – тихо, так тихо, как дыханье, выговорила Лиза.

Глядя на лицо ее бледное, на блистающие глаза и трепетные от слез ресницы, Егор Петрович с никогда не испытанной силой почувствовал, что вот именно ее, только ее любит и никого больше любить он не может...

И чувство это таким огромным напором ударило по сердцу. Застонал Егор Петрович и опустил низко голову.

– Я все знаю...

И уже готов был все рассказать, – все, что узнал от Игната, и о всех думах своих сейчас там, в саду, на той самой круче, с которой хотела броситься она в реку, обесчещенная, о том, что бесчестье это не бесчестье, а несчастьем сделалось, а через горе человек чище бывает, любит крепче...

Поднял голову.

Два испуганно раскрытые глаза глядели в эти самые мысли его.

Лиза тихо попятилась от стола.

И удержался Егор Петрович.

В эту минуту перед синими испуганными глазами зарок себе дал на всю жизнь:

"Никогда виду не показывать Лизе о том, что рассказал ему сегодня дядя Игнат..."

И засмеялся весело, раскатисто, как всегда смеялся.

– Напугал я вас, этакий трепанный... Эх, Лизавета Ивановна, неволить не могу, а от сказанного не отрекусь! Подумайте и мне свой ответ когда-нибудь скажите. Все думы передумал я... А мельница б пошла, жизнь-то какая бы стала! Чайную с читальней да с библиотекой здесь устроили б. Вас в нее, на хорошее дело. Читать бы стали, работать бы сообща, совместно все. А там еще... Да эх!.. Столько бы, столько, что...

Егор Петрович махнул рукой.

Встал.

– Всей ночи, до утра не хватит, если все-то рассказывать начну... Пойду я... Покойной ночи вам!.. Из-за этого и пришел, Лизавета Ивановна! Покойной ночи, Леня там меня ждет! Уток завтра привезем вам.

Егор Петрович вышел.

Было слышно, как прошел под окнами.

В горнице снова стало тихо.

VI

Всю ночь Ленька спал плохо.

Всю ночь думал о диких утках, гусях; убивал их десятками, победителем возвращался из неведомых озер, с ног до головы обвешанный черноголовыми селезнями, и под самое утро выдержал смертельный бой со стаей волков, напавших на него в дремучих лесах... И у волков были красные глаза, и разговаривали они между собой по-человечьи...

С первыми лучами солнца Ленька был уже на ногах.

Первым делом побежал в сарай, к кряковым уткам. Посыпал им проса, подлил в черепок воды, а от кряковых махнул вниз, под откос, где, прикованная на цепь, покачивалась на мутных водах просмоленная заново лодка. От лодки – к Егору Петровичу.

Старая Тимофеевна на кухне чистила картофель.

– Встал? – шепотом спросил Ленька, поглядывая на прикрытую дверь в комнату Егора Петровича.

– К чему это, эдакую рань вставать! – сердито ответила Тимофеевна.

– Мы ноньче на охоту...

– Какая ноне охота! Аль он бусурман? Благовещенье ноне...

У Леньки екнуло сердце.

– Ноне птица гнездо не вьет!.. Грех великий, а ты – на

охоту...

– А Егор Петрович ружье вычистил... – упавшим голосом проговорил Ленька.

– Ну и вычистил, а ноне Благовещенье!.. Ишь вскочил рань какую!

– Мы чайник приготовили и уток кормили, – с слабеющей надеждой убеждал самого себя Ленька.

За дверью послышался громкий протяжный зевок.

Ленька ужом вскользнул в комнату.

– А-а-а, Алексей Иванович! – встретил его Егор Петрович и, зевая и жмурясь, как кот, потянулся до хруста в грудной клетке.

– А кряквы все просо поклевали... – начал Ленька, – я им еще сыпнул. И водички долил...

Ленька говорил заискивающим голосом и пытливо всматривался в лицо Егора Петровича.

– Молодец!

– Тепло-о ноньче... И ни одной тучки нету!..

– Это хорошо!

– И лодку я смотрел... Не течет. Ни капельки в ней нет!

Егор Петрович потянулся еще раз и выпрыгнул из постели.

В пустоту дообеденного времени Ленька, как в бездонный мешок, напихал всего, что мог: суету около лодки, укладывание и перекладывание в брезентовую сумку припасов; чистое ружье еще раз прочистил; напихал в карман сломан-

ный компас, перочинный нож, свисток; приладил веревочки к корзинкам с кряковыми.

А обед все не наступал.

Раза три Ленька начинал хотеть есть. Подхватывал живот и говорил Лизе:

– А есть хо-очется!

– Что ты?! Недавно чай пили. Возьми, поди, хлеба!

– Неда-авно? – обиженно передразнил Ленька сестру. – Солнышко-то вон где!

К хлебу не прикасался и шел к Егору Петровичу. Смотрел на круглые стенные часы и ужасно хотелось ему подтолкнуть черную медленную стрелку.

Его одолевали сомнения.

"А вдруг Егор Петрович передумает?"

"А вдруг дождик?"

"А вдруг отец придет из города и скажет: нельзя?.."

Когда перед самым обедом к Егору Петровичу пришли из грачихинского кооператива члены правления, Ленька упал духом. С ненавистью глядел он, как, раскуривая махорку, они сидели с Егором Петровичем на бревнах и не торопились уходить.

А Егор Петрович словно забыл об охоте. Неторопливо рассказывал о совсем неинтересных вещах: о вальцах, о ситах, раструбах. Особенно сердился Ленька на Акима Ивановича за то, что тот переспрашивал каждое слово, а когда говорил, – расставлял слова так, что в их прогалах можно было

поставить роту солдат.

– Леня, поди-ка принеси ключи от машинного! – позвал его Егор Петрович.

– Я не знаю где...

– Спроси у Лизаветы Ивановны!

– А она почему знает! Их папашка с собой, должно, унес.

– Поди, поди! Живо!

Ленька долго не возвращался, хотя ключи сразу дала ему Лиза. Подсматривал в окошко в надежде, что не дождутся и уйдут.

В машинном долго ходили вокруг двигателя, щупали и вздыхали... Аким Иваныч расставлял редкие, неторопливые слова. Леня сверкал глазами и думал:

"И чего они тут! Понимают, тоже..."

VII

Когда отвалили от берега и Егор Петрович сильными ударами выровнял лодку, на косогоре показалась человеческая фигура. Она быстро сбегала вниз, размахивая руками.

Егор Петрович пригляделся и в несколько взмахов опять пристал к берегу.

– Ку-чум! – улыбнулся он, узнав.

– Вот грех-то! Чуть не опоздал! – засипел, спустившись к лодке, Кучум. – Один момент, и уехали бы...

За плечом у него болтались двустволка и корзинка с кряк-

вой. Просаленный, в заплатках пиджак был перетянут веревкой; на веревке – жестяная фляжка и узелок с хлебом.

– Мне Игнат рассказывает – в обед едут... А у меня, государь, никакого, то есть, припасу нету. Туды-сюды, насилу дроби достал, государь... А лодки самостоятельной – ни!.. На каблы, что ль?

– Садись, там видно будет! – сказал Егор Петрович.

Под дружными ударами весел лодка выкинулась на середину и, увлекаемая течением, ходко пошла по бурливой мутной реке к синеющему вдали дымному лесу.

– У моста, государь, настоящая выхуль, – сипел Кучум... – В городе по четыре рубля скупают.

– Выхухоль у нас бить запрещено!

– Какой нам запрет, государь?! – отвечал Кучум и зорко шарил глазами по залитым водою кустам.

* * *

Коротконогий, низкорослый Кучум был похож на обезьяну. На маленьком лице, заросшем шерстью, тесно были собраны глазки, вздернутый ноздрястый нос и оттопыренные губы. Длинные руки были угловаты и жилисты.

Ловко работая топором, Кучум заострял жерди для шалашей и сипел:

– Селезень должен тут быть. Градские сюда не доходят... На этом самом месте, государь, я шесть штук сшиб! Воды то-

гда много было. Разлилась морем к самому городу. Исправник наказывал селезней обязательно доставить. Как сейчас помню, государь, шесть материковых. Жи-ирные! Ну, скажи, ба-ра-ны!!! Только это я причал сделал, вылез, он – Сергей Сергеич – собственной персоной тут и есть. И городской с ним... Туда-сюда... "В моих, говорит, дачах без дозволенья моего убил!" Отобрал, государь, ружье, да-а!.. А идешь, бывало, – шея с оглядков болит.

– Кучум, а как это ты скворцом пел? – с улыбкой спросил Егор Петрович, завязывая верхушки жердей, натяканных полукругом в землю.

В крохотных глазах Кучума вспыхнули злобные точки.

– Ишь, припомнил чего! – сказал он и замолчал надолго.

Достраивали третий шалаш.

– Веришь, Петрович, думал – кончусь... – засипел неожиданно Кучум. – Все одно как на голгофине разбойник. Принимай дух мой – да и шабаш! Ты думал, легко это, государь? А этот ирод очкастый нет-нет да снизу-то:

"Кучум, а Ку-чум!.." Мягко эдак, будто поп... "А по-соловьиному можешь?" Ему хорошо!.. Не стерпел я под конец, к-ээк в очки-то ему харкну! Провалиться – не вру!

– А он что?

– "Ах, говорит, скверный ты хам! Из ружья, говорит, тебя сейчас из поганого..." Обдумал тоже! С той самой поры голос потерял, государь! От натуги это.

Кучум помолчал, сплюнул и в ухо Егору Петровичу про-

сипел:

– Осенью я ему, очкастому, ригу спалил.

– Ну?

– Именно. Дом хотел запалить, да...

Стайка материков со свистом пронеслась над разговоривавшими. Ленька схватился за ружье, растерянно смотря то на Егора Петровича, то на Кучума.

– Скоро и заря зачнет, – сказал Кучум, – ты, Петрович, в этот шалаш залазь, тут самое место. Ленька – туды, на край, а я посередке. Сидеть до темного...

Когда стали расходиться по шалашам, Кучум задержался у шалаша Егора Петровича, раздумчиво посмотрел вверх и вздохнул:

– Эх, кабы однова главным самым комиссаром побыть!

Егор Петрович улыбнулся.

– Ну?..

– На денек бы один!

– Ну, и что тогда?

– Сделал бы я...

– Чего?

– Та-ко-ое, уух! – зажмурился Кучум и закрутил лохматой головой.

В вечернюю зарю посчастливилось только одному Кучуму сшибить пару селезней.

Сидя у костра, Ленька с завистью рассматривал их и думал о том, что Кучум нарочно посадил его в крайний шалаш,

чтобы он ничего не убил.

– Хитрый тоже. Себе серединку выбрал... Утром на его место сяду...

С этими невеселыми мыслями Ленька, пригретый костром, задремал, укутавшись в пиджак. Часто просыпался. От костра горячо было, а в спину дуло, и липкая сырость лезла под пиджак.

Сучья шипели. Густой дым душил огонь, и тогда низко опускалась ночь и снова отшатывалась, когда огонь, разорвав толщу дыма, весело вскидывал кверху. Огромный дуб, под которым устроили ночевку, тихо раскачивал могучие ветви и был живой.

Когда Ленька проснулся, Кучум и Егор Петрович сидели у догоравшего костра. На рогульке покачивался закипавший чайник и плевался из носка на уголья.

– Вставай закусывать! Скоро заря.

Егор Петрович снял с сучка брезентовый мешочек с провизией.

И хлеб, и яйца, и пахнувший болотом чай – все было необычайно вкусно. Ленька ел не торопясь, так же, как ели Кучум и Егор Петрович. И от этого все казалось еще вкуснее. С едой прошли грустные мысли о неудачной вечерней заре. Ленька с надеждами, почти с уверенностью залез опять в крайний шалаш. Зажал в руках дробовую берданку и весь превратился в зрение и слух.

Прямо перед шалашом, привязанная за лапку, купалась и

прихорашивалась кряковая. Опускала голову в воду и грациозным изгибом шеи откидывала ее на спину. Накупавшись, начала таскать из ила червей.

С писком бултыхались по воде крысы; подплывали к насторожившейся утке и, нырнув, исчезали. Справа и слева по кустам скрипели улитки. И казалось – чмокают чьи-то клейкие губы. Впереди в камышах осторожно крякали утки.

С упругим свистом над шалашом пронеслась стайка чирят. Ленька крепче стиснул берданку, до боли напрягая зрение. Шли минуты.

И каждая уходящая минута отрывала от Леньки драгоценную возможность...

Хотелось, чтоб заре не было конца, а ночь неумолимо расползалась. Все светлей и светлей становилось вокруг.

Селезни не прилетали.

Кряковая, забыв о Леньке, мирно пожирала червей и лягушек.

– Хоть бы одного!.. Разъединственного одного!.. – шептал Ленька и весь вздрогнул, когда звучные, раз за разом, наполнили зарю два выстрела.

– Кра-кра-кряк! – закричала утка и вытянула шею.

Ленька застыл.

Стая материков пронеслась влево, где надрывно, не умолкая, кричала утка Егора Петровича.

И снова сочно, оглушительно полыхнуло над островом. Теперь выстрел был ближе, влево, где сидел Кучум.

Ленька готов был плакать от досады.

И, будто в насмешку, кряковая запуталась в веревочке и беспомощно забилась вокруг колышка...

Ленька выполз из шалаша. Долго возился с уткой, распутывая, и пока распутывал – еще два прогремели выстрела.

В тот момент, когда Ленька приговаривался снова залезть в шалаш, неожиданно над головой его протянулось низкое и важное:

– Ка-гга-ак!

Большой табун гусей плыл над шалашом низко-низко. Ленька различал вытянутые красные лапки, прижатые к белому брюшку,

Как во сне припомнил потом все это Ленька.

Из его сознания навсегда ушло и то, как он поднял берданку, и как целился, и как стрелял.

Запомнилось: кувыркающийся сверху темный огромный ворох.

Гусь глухо шлепнулся в нескольких шагах от Леньки; трепыхнулся раз и два и будто веером прикрыл вытянутую лапу огромным судорожным крылом...

* * *

Возвращались весело!

На дне лодки – семь штук селезней и гусь.

На носу – героем – Ленька.

– Только это я вылез из шалаша, смотрю...

– Кучум, глянь-ко-сь крыло-то! Егор Петрович, смотрите! – Ленька растягивал могучее мертвое крыло и восхищенно говорил: – Аршин сколько будет?..

– На версту еще скажешь, – сплевывал Кучум, кровно обиженный в своем охотничьем самолюбии. – Сиди смирно! Лодку опрокинешь.

Ехали лесом. Просеками. Скрытые водой пни чертили по дну лодки, и лодка становилась. Егор Петрович натягивал высокие охотничьи сапоги, слезал в воду и тащил лодку за цепь. В прогалах осинника впереди светилась чистая просторная река. Ленька нетерпеливо посматривал на реку, сгорая желанием поскорее попасть домой.

Наконец вывалили на простор.

Величавую чистую радость лила синева безбрежного неба. Румянились под солнечными лучами молодые вербы, и воздух окрест казался розоватым. С голой березы на другом берегу плавно снялся коршун. Поплыл в синем небе неторопливый, могучекрылый. Теневая сторона леса снизу была окутана легкой дымкой тумана, но в обнаженных верхушках уже трепетали золотистые солнечные нити.

На обрыве, у мельницы, неподвижная стояла фигура в черном. Кучум с кормы разглядел первый.

– Никак очкастый?

Егор Петрович посмотрел назад, через плечо.

– Он и есть, – сказал Кучум и перестал грести. Тихо ух-

мыльнулся и взял ружье.

– Чего ты? – посмотрел на него Егор Петрович.

– А то чего же? – просипел вместо ответа Кучум и, повернувшись боком, медленно стал поднимать ружье.

– Не балуй! – строго остановил Егор Петрович. – Слышь, говорю, брось!

И поднял весло, мешая прицелу.

– Ничего от этого не подеется! – недовольно опустил ружье Кучум. – Дробь ать – утиная!.. Попужать черта очкастого. Вреды никакой от этого!.. Вроде, как пострекочет...

– Брось! – еще раз повторил Егор Петрович и сильными ударами подвалил к опрокинутому у обрыва вязу.

* * *

Сергей Сергеевич Королев иногда наведывался в бывшую свою усадьбу. К его посещениям привыкли, и никто даже не замечал, когда приходил он.

Никому никакого дела до него не было.

В больших желтых очках, в стареньком черном сюртуке, был он весь линиялый и жалкий.

Придет и бродит по усадьбе...

Подойдет к конюшне – вздохнет: припомнит чистопородную тройку; от конюшни к амбарам – вздохнет; у скотного двора постоит-постоит – вздохнет; вокруг дома – повздыхает и так по всей усадьбе разроняет бесплодные вздохи, как

гнилые семена, пробудет день-другой и уйдет в город.

Лиза в каждый приход его забивалась в комнату и не выходила.

Семь лет прошло с того вечера, но помнила Лиза все, как сегодняшний день.

Вино было сладкое и горячее... На долгий и страшный миг отнялись руки и ноги, и все вокруг поплыло... И тогда низко-низко заглянули в лицо ей огромные желтые очки, а холодные мокрые губы из-под жестких усов присосались к телу, как слизняк, и выпили зараз всю силу и крик...

* * *

Стоя на обрыве, Сергей Сергеевич глядел вниз.

На причалившую лодку.

И под седыми усами нехорошо возилось:

"Тоже господами стали... Гра-би-те-ли!" С веслами на плече из-под кручи вылез Егор Петрович.

– Сергей Сергеич, здравствуйте!

И протянул руку.

Протянул руку и Сергей Сергеевич. Кучум вылез вторым и плюнул.

А Ленке все равно в этот день было кому ни рассказать – да рассказать.

Он волочил за ноги раскрылившегося огромного гуся.

– А я гуся убил, Сергей Сергеич!

Сергей Сергеевич потрогал концом палки убитую птицу.

– Гмм...

Шевельнул седыми усами и поправил на голове светлый клетчатый картуз.

– Проведать пришли? – осведомился Егор Петрович и передал Кучуму дичь, весла и ружье.

– Скажи Тимофеевне, насчет самоварчика чтоб...

Сергей Сергеевич и Егор Петрович остались вдвоем.

– Мельницу пускать хотите? – спросил Сергей Сергеевич.

– Непременно, непременно пустим! – уверенно ответил Егор Петрович. – Отдохнула, теперь ей и потрудиться пора.

– От кооперации работать будет?

– От нее. От правления...

– А двигатель как?

Спросил и под усами проползло усмешливо.

– Приводим в порядок. Пойдет!

– Гмм...

– Да, Сергей Сергеич, пойдет...

– В добрый час!

– Покорно благодарим!

– И нефть есть?

– Нефть нам в кредит... Государство навстречу идет кооперации. Дело общественное.

– Гмм...

Так разговаривая, рядышком шли по усадьбе к мельнице.

Заложив руки за спину, Сергей Сергеевич бросал по сто-

ронам из-под очков взгляды. Узнавал старое, хозяйское. И покашливал: гмм!

У каменных конюшен Егор Петрович остановился.

– Видите, – отремонтировали. Денников прибавили.

– А это зачем?

– Сюда мы поставим заводских производителей. От кооперации. Лошадь настоящую дадим... Для мужика лошадь, сами знаете, – первое дело! На скотном быков заведем племенных. Кооперация, Сергей Сергеич, дело большое, нужнейшее дело... Сейчас крестьянство поняло выгоду...

От конюшни к амбарам, от амбаров подошли к бывшей людской – большому каменному дому.

В открытые окна вырывался свистящий вздох рубанка.

– А тут что?

Сергей Сергеевич осторожно заглянул в окно.

– Читальня с библиотекой будут здесь... Мужик зерно привезет, в очередь, понятно, вот и будет здесь пережидать. И чайную здесь же откроем... Лекции читать будем. У вас этого не было, Сергей Сергеич?

В словах Егора Петровича мертвая усадьба оживала и начинала биться огромным сердцем, связанным тысячами нитей с раскинувшимися окрест деревнями и селами. Егор Петрович увлекался, забывал, что перед ним дворянин-помещик, бывший владелец усадьбы, ненавидящий зеленой ненавистью все, что от революции. Забывал и многое другое, незабываемое, и говорил страстно, убежденно, с непоколе-

бимой верой в будущее.

Из-под круглых желтых очков Сергей Сергеевич посматривал на простецкое лицо Егора Петровича, и просачивалось в душу ему, вопреки самым закоренелым верованиям, обидное:

"А что, если правда? Если все будет так, как говорит этот нахватавшийся в городе мужик, холуй".

И сказал поспешно:

– Ничего не выйдет из этого!

Егор Петрович чуть улыбнулся.

– Почему?

– Хозяев много! А настоящего нет!

– Это вас-то?

– Ннет... мы свое отжили!.. Заботится человек и старается только о своей собственности, а когда много хозяев...

Егор Петрович прищурился.

– Мы, Сергей Сергеич, тоже собственники, – тряхнув головой, сказал он. – Только есть у нас с вами разница... У вас, например, – усадьба, а у нас – куда глаз хватит! А глаз у мужика на всю землю. Вот оно что! Чтоб на всем земном шаре одно хозяйство зашевелилось... Вот ка-ак!..

– Твой отец у моего деда в конюхах был, – произнес Сергей Сергеевич.

Егор Петрович сбоку посмотрел на Королева.

Снял картуз и, зайдя наперед, поклонился.

– Спасибо вам, Сергей Сергеич, и деду вашему!

– На конюшню посмотрел и вспомнил, – добавил Сергей Сергеевич.

– Так, так, – сказал Егор Петрович. Помолчал и тихо спросил: – Все припомнили-то?

Шли по саду.

Мимо барского дома липовая аллея вела на обрыв.

У обрыва на круче, над рекой, остановились.

Сергей Сергеевич вздохнул.

Здесь мечтал он о постройке воздушного моста.

– Собор-то как хорошо видно... – проговорил он, смотря на видневшийся за чернолесьем город.

– Все по-старому, только вот... Припомнили-то все? – с настойчивостью, но тихо повторил Егор Петрович.

Сергей Сергеевич раздумчиво посмотрел на него.

– О чем вы?

Егор Петрович подошел к Сергею Сергеевичу в упор.

Увидел под желтыми очками забегавшие глаза. И глотнул подступившую к горлу злобу.

– Ничего не забыли?

Ладонью провел себя по оттопыренному боку Сергей Сергеевич, а другой рукой поправил очки.

Егор Петрович перевел дух и шепотом спросил:

– Ли-зу-то?

Сергей Сергеевич попятился.

– Тут вот, на этой круче... Помнишь, что ль? Говори, гад старый! – зарычал Егор Петрович.

Как железные крючья, впились его пальцы в сюртук и тело Сергея Сергеевича у самых мышек и встряхнули с бешеной силой.

Из оттопырившегося сюртука просыпались пачки, перевязанные ленточками и ниточками: николаевские сотенные, пятисотки, акции, еще что-то.

– А-ай! – взвизгнул по-бабьи Сергей Сергеевич и одной рукой тщетно пытался удержать очки.

Расставив ноги, Егор Петрович оторвал его от земли и вскинул над головой.

– Спускай, спускай его, ирода, в кручь! – засипело вдруг около.

Кучум, раскорячившись, снизу всмотрелся в Сергея Сергеевича и, натужившись, заблеял:

– Ар-р-ря!!!

На одно мгновение, раскрылив черный сюртук, Сергей Сергеевич замер в страшном взлете над обрывом, над мутными бурливыми водами.

В этот момент над садом, над рекой и над всей усадьбой прошел гулкий вздох.

Егор Петрович, бросив на землю Сергея Сергеевича, застыл.

Второй короткий, мощный вздох.

И еще.

Будто вылетали тугие пробки из чудовищных легких.

Егор Петрович посмотрел на Кучума, на Сергея Сергее-

вича, растопырившегося беспомощно на краю обрыва, и, ничего не сказав, побежал к мельнице.

Навстречу ему от мельницы пулей мчался Ленька.

– Его-ор Петрович! Поше-ол! Поше-ол! Скорей!

На пороге машинного Егор Петрович остановился, как вкопанный.

Дизель был живой. Дизель пошел.

Огромный маховик мерно крутился. Стучали поршни. Иван Федорович, черный от нефти и копоти, улыбался ослепительными зубами.

Голос Егора Петровича утонул в шуме и стуках работающей машины. Не слышно было и Ивана Федоровича. Но оба они понимали друг друга и крепко трясли друг другу руки.

Выходя из машинного, на пороге встретил Лизу.

Она улыбалась, и глаза ее сияли. Золотились на солнце белокурые волосы. В первый раз Егор Петрович увидел на ней светлую кофточку, и Лиза показалась ему прекрасной как никогда. Он посмотрел на нее, посмотрел на Ивана Федоровича. Набрал воздух и сказал Ивану Федоровичу:

– На такой радости прошу я тебя – отдай за меня Лизавету Ивановну!

Иван Федорович вытер синим рукавом блузы потное лицо и протянул Егору Петровичу руку.

От мельницы Егор Петрович вернулся в сад – вспомнил Сергея Сергеевича.

Ноги чтоб его здесь не было!

Кучум сидел на обрыве и развязывал пачки с николаевскими. Рядом с ним на земле валялась смятая клетчатая фуражка. Сергея Сергеевича не было.

Егор Петрович недоуменно осмотрелся.

– Убрался?

Кучум поднял заросшее шерстью лицо.

На нем были одеты желтые очки Сергея Сергеевича.

– Оступился он... Туды и за-гул! – мотнул он головой под обрыв.

Егор Петрович посмотрел с обрыва на быструю воду реки. Вспомнил жалкое испуганное лицо бывшего помещика, когда он недавно поднял его тут над обрывом, и в груди шевельнулось какое-то гадливое чувство. Обернувшись к Кучуму, Егор Петрович сказал:

– Конченный он был человек, Кучум. Зря ты его...

Кучум махнул рукой в ответ и крепко выругался.